

Владимир КАРПОВ
г. Москва



СКАЖИ

РОМАН

Трудно ныне говорить и думать о чем-то ином, кроме творящихся невзгод. А говорить и думать только об этом — потерять нить жизни. Что же остается важным и незбылемым? Детство, выпавшее для автора на 50-60-е годы двадцатого столетия. Время, когда уже не было голода и классовой борьбы, мучившие предыдущие поколения. Но оставалась близость к природе. И от мала до велика люди несли в себе дух победы в большой войне...

*«А уж известно, что русский мальчик
так и родится вместе с лошадкой»
Ф.М. Достоевский. «Братья Карамазовы»*

КОНИ-ЛОШАДИ

Если попадалось в школьном задании слово «лошадь», «конь», Валё выводил его самым старательным образом. Он мечтал стать конюхом или пастухом.

Пасти коней Валё — Валера, если полностью, но все звали Валё, — довелось еще до школы, перед первым классом. Дядя Вася, муж мамочкиной сестры, взял приехавшего на лето племянника с собой в табун и выделил ему спокойную лошадку по кличке Гнедко. Василий Макарыч, как уважительно называли его в Каже, был человеком тихим, необыкновенно молчаливым, носил невесть как выстриженную рыжую бороду. Сидел себе в думах на лошадке, курил козью ножку, сомкнув и без того почти сросшиеся рыжие брови, похожие на рыбы плавники. Кони в колхозном табуне с таким пастухом были такими же спокойными, с хрустом щипали невысокую здесь траву да иногда биением кожи или взмахом хвоста отбивались от насекомых.

Село Кажá находилось в предгорье Алтая, среди зеленых холмов, по низинам которых цвели медуницы. Коней пасли на косогоре, откуда открывался вид на извилистую, неширокую, но

тогда еще полноводную реку с плотиной, улицу с домами вдоль берега и большими огородами. Река также назвалась Кажа: от древнерусского слова «кажи» — говорить.

Когда Валё приставал к мамочке с расспросами:

— Ну, скажи, ну, скажи?!

Она отвечала, чуть улыбаясь:

— Да, я с Кажи.

Родственников у Валё в деревне — пруд пруди! Был также в пастухах и сродный (двоюродный, если по-современному) брат Алексей, женатый парень. Он ездил на рослом сером жеребце, всегда рысью или галопом. Братка Леша иногда перегонял свой табун по кособогу противоположного склона. Валё смотрел во все глаза: Лешка, как звали его в деревне, то и дело срывался с места, настигая по бокам крупного серого коня. Догонял отбившуюся от стада лошадь, змеёй взмечало длинное кнутовище бича, и громко, на весь распадок, раздавался щелчок. А то и охаживал иного ретивого крепко по спине. Жеребец под ним ржал, громко фыркал, скаля зубы. Может статься, молодому Лешке и лошадей выделяли более резвых, а дяде Васе, который Валё казался просто дедушкой, обьежженных и послушных?

Подпасок Валё тоже устремлялся за лошадей, едва замечал отошедшую в сторону лошадку. Разогнать Гнедко было делом непростым. «Но!» — давал команду наездник, дергал узду, тыкал пятками в бока. Конь трогался нехотя, кренил голову, будто пытался вырвать поводья из рук. Шла в дело и плетё, хоть и жалко скакуна, но что делать? Работа. Хлестал, конечно, не как лихой братка, а в треть замаха, сам ежась от воображаемой боли. Гнедко переходил на рысь, а то и брал галопом. Бывало, Валё удавалось, как заправскому пастуху, завернуть коня и прибить к табуну. Но случалось, пока он разгонялся, отбившийся конь давал деру, и уже трудно было обойти его сбоку — так, чтобы оказаться чуть впереди. Хвост беглеца развевался впереди! Валё менял плетё на бич, но длинное кнутовище, мелькнув косо в воздухе, только бумерангом отбивало пальцы. Другие лошади следовали в образовавшуюся брешь — табун начинал рассыпаться.

Тогда и дядя Вася пускал своего коня в рысь, следуя по дуге, отсекал беглецу путь. Никогда он

не бил лошадей и не размахивал для острастки бичом, лишь подёргивал в воздухе, как рыбак удочкой, проверяя поклев.

И скоро снова тихо сидел на лошадке, попыхивал козьею ножкой, и табун, и лошади в табуне паслись, будто им и не нужен был никакой пастух.

Дядя Вася не ругался. Брови только, сведенные думой, ершились того круче.

Впрочем, здесь, в деревне, никто из родных не ругал Валё — городского ребенка, как бы иного, высшего племени. И хотя район Заречья города Бийска, где жил Валё, был больше похож на деревню — такие же дома с огородами, с сараюшками, курятниками и часто коровниками, — а всё же город! Родственники часто, особенно при других людях, любили вспоминать, как тетя Нюра, мамина сестра, накупила леденцов — лампасеек. Вся деревенская ребятня набросилась, а Валёк, тогда еще совсем маленький, сказал: «Я такие не ем. Я ем только соколадные». Эвона как — городской!

«Соколадные», — чуть что, поддразнивал его сродный брат Вовка, сын дяди Яши, мамочкиного родного брата. Вова был пятью месяцами младше Валё. Но — деревенский — дока в хозяйственных делах! Научил городского неумеху ловить рыбу в Кажушке — по деревне текла река Кажа, а в неё втекала маленькая Кажушка.

Братья вырезали куски толи, сворачивали в воронки. Вставляли эти воронки в горловины стеклянных банок — вот тебе и корчажка! Пескарей и гальянов набивалось много — прямо консервы готовые!

Валё так заразился промыслом, что приносил тётке Нюре по две-три снизки — на длинный тонкий очищенный прут с одной лишь не срезанной веткой на конце (рогулькой) нанизывались через жабыры рыбки. С гирляндой из рыбок Валёк гордо шагал по деревенской улице в мокрых обвислых трусах: в те годы мальчики не знали шорт и плавок, а всё лето ходили в семейных трусах, в них же и купались. Тётя Нюра жарила эту рыбью лапшу с яйцами. К тому же на растительном масле, которое тогда было с естественным запахом подсолнечника. «Рафинированным» его делали уже на сковородке, доведя до кипения и подсаливая. Любитель шоколадных конфет и здесь был привередлив: мама Клава,

тоже мамочкина сестра, приучила его в городе к любой жарёхе только на сливочном масле. Надо пояснить: у мамочки было десять братьев и сестер. У каждого в свою очередь по пятеро детей. Только Валё у мамочки один, при этом трое еще приёмных, да не было детей у тети Поли, погибшей на войне. И мама Клава смолodu жила по родне, воспитывая малых детей своих братьев и сестёр: родня и была её семьёй. Растила и Валё. Мамочка перевезла её из Кажу после того, как двухлетнего сына уронили в подпол. Так говорили — «уронили». Хотя никто не ронял, Валё помнил, как катился по полу столбиком и упал в подпол, который няньки — старшие сёстры — достав картошку, забыли закрыть. Сильно прикусил язык, два года его водили по врачам, кололи уколами. А когда однажды ртом пошла пена, мама Клава, втайне от отца, не терпевшего никаких знахарей и целителей, повела ребенка к бабке, умевшей заговаривать. Бабка велела собрать и принести из дома мусор, сожгла его под стулом, на котором сидел мальчик, пошептала что-то, дала попить травяного настоя — и всё тотчас как рукой сняло. Так рассказывали, обогатив округу легендой о чуде. Валё бабку с заговором не помнил, а вот полная врачиха в очках, наставляющая на него шприц с иглой, стояла перед глазами как живая.

Так повелось, что тетю Клаву, которая была постоянно с ним, лелеяла и обихаживала, как самого родненького, Валё стал звать мамой. А маму, которая много работала и дома была мало, — мамочкой. Позже, взрослым, Валерию довелось узнать, что это не их семьи изобретение. В сибирских семьях, особенно в среде кержаков (старообрядцев), как правило, дети мамами звали старших женщин в семье — бабушек или тёток. А матерей — мамочками. Однако в Бийске, на их улице, среди друзей, только у него были — мама и мамочка!

У всех родственников в деревне имелись козлы, хозяйки сами взбивали масло. Ешь — не хоч! И тетя Нюра городскому племяннику всё — и рыбу, и картошку, и блины — стала делать только на сливочном масле. Валё особенно нравилась жареная ранняя маленькая, с глазок, картошечка, подкопанная сбоку растущего окученного куста. Неочищенная, лишь хорошо промытая: в сливочном масле на сковородке

шарики картофелин получались золотистыми, с легкой корочкой. На вилочку её, ускользящую и обжигающую, да с парным молоком или прохладной, из подпола, простоквашей! «Простокишей», — как говорила тетя Нюра.

Учил Вовка городского братку и возить копна. Копна возили на лошади — без седла, но с хомутом. Вовка знатоком показывал, как подкладывать веревку под копну, приподнимая от земли сено по кругу. Концы этой веревки крепились к хомуту. Один из мальчиков садился на лошадь и тянул копну к стогу.

— Ты ещё наездишься, — просил братку Валё, — давай я на коне.

Вовка вздохнул, но соглашался: кобыла Майка была в личном хозяйстве дяди Яши — Вовкина, считай! Понятно, ещё наездится.

Городской брат восседал на лошадке, а Вовка подводил верёвку под копну и привязывал её к хомуту. Майка была резвой, гуляла под седоком, пританцовывала. Валё, учёный дядей Васей, поглаживал кобылу по загривку и узду дёргал, начиная движение едва-едва, бережно. Подвозил копну к растущему стогу, где дядя Яша с браткой Толей, его старшим сыном, метали сено деревянными вилами в виде трезубца. Тётя Нина — Нина Адамовна, как её величали в деревне, — мама Вовки принимала сено на стогу. Была она рослой, плечистой, держалась прямо, напоминающая скульптуру на постаменте в городском саду. Только вместо весла — вилы. Говорили, что дядя Яша привёз её со службы в армии, из Белоруссии.

Вове наконец надоело заниматься подсобной работой, да и Валё пора и честь знать. По правде говоря, деревенский Вовка вряд ли ездил на коне много больше городского брата — дядя Яша работал заготовителем, разъезжал на Майке, запряженной в телегу, по сёлам. Да и ради баловства не позволяли.

Вовка подвел лошадь к краю телеги, потом забрался на телегу — прыг, и сразу натянул поводья, бочком, рысцой помчался к копне. Майка маленько куражилась, но наездник жестко поставил коняшку задом к копне. Валё стал заправлять веревку под сено по кругу, к нему на помощь подскочила сестра Галя — Вовке родная, а Валё сродная. В их большой родне старших сестер называли — няня. Здесь, в деревне, у Валё с Вовкой

было много нянь — няня Маня, няня Агания, няня Катя... — не перечислишь! Как много и «браток». Все они были гораздо старше Вовы с Валё — рожденными до войны. А Галя — так же после войны, старше Валё всего четырьмя годами, и младшие братья звали её просто по имени.

Сестра помогла справиться с верёвкой, прикрепила концы к хомуту с обеих сторон. Вовке, зная, хотелось продемонстрировать городскому брату истинное умение, и он хорошенько поддал Майке в бока. Кобылка дернулась, пошла резво, а тащить надо было в гору, и веревка выскочила из-под копны, крепко хлестнув лошадку пониже голени, под сустав. Майка просто взвилась, и Вовка улетел, да и угодил на грабли, лежащие на стерне зубьями вверх. Так показалось всем. Взрослые побросали вилы, подбежали к Вовке. Грабли лежали аккуратно между животом и согнутыми в коленях ногами. Еще бы чуть, и зубья могли проткнуть Вовку, да чудо помогло!

— Ремня захотел?! — голос здорovenного дяди Яши сорвался на визг.

Валё давно заметил: деревенские мужики кричали на детей немножко бабьим голосом. После, взрослым, ему доведется читать книги, где деревенские люди матерятся. В селе Кажа, по крайней мере при детях, мужики не матерились. О женщинах и речи нет. Матершину привезли уезжавшие на большие стройки парни: возвращались, красовались в кепках-восьмиклинках, умея сплевывать через зубы, делаясь бойкими на вводное словцо.

Майку опять оседлал горожанин, а Вовка, привязывая веревку к хомуту, сплюнул на блатной манер и сказал: «Сучка!» И в следующий раз повторил. Валё не нравилось, когда ругаются. Но Вовка не просто ругался — обзывал ло-ошадь! Стыд брал перед Майкой, на которой Валё сидел, ехал и чувствовал, как движутся её живые лопатки.

— А Вова нехорошие слова говорит, — сдал городской брата.

— Какие? — остолбенел дядя Яша.

Валё было трудно произнести, но деваться некуда:

— Сучка.

— Я ему покажу сучку! — видно, дядя Яша ожидал худшего, поэтому вскричал опять «по-бабьи», и все.

— Сокола-адные, — мстительно произнес Вовка.

И теперь он «грел» этим словцом то и дело.

Дядя Вася позволял Валё одному проехать на лошади и по деревне. Поздним числом можно поудивляться — как это колхозную лошадь доверить мальчишке-дошкольнику, при этом не бояться председателя или парторга? Может, это уже впечатление от фильмов и литературы более позднего времени, где утверждалось, что в колхозе всё надо было согласовать с начальством? Но тогда, в середине 50-х, приезжий мальчик Валё преспокойно ехал по улице Кажи, с высоты коня гордо поглядывая на местных мальчишек: стать подпаском в колхозном табуне доводилось далеко не каждому!

— Соколадный, — донеслось из стайки детворы. Братик Вовка, понятно, нашёл время отомстить.

— Соколадный, — загалдели остальные.

И все загоготали, указывая пальцами. Но указывали они не на Валё, а куда-то ниже, под круп коня. Седок склонился и увидел, что мерин выпустил свою плоть. И шланг этот болтался низко, на уровне колен лошади.

Васька или Витька — они были близнецами, сразу не различишь — скорее, Васька, он более дерзкий, — приблизился к коню и тонким прутом стеганул по кончику мягкой плоти мерина. Конь резко метнулся в сторону, и «Соколадный» кубарем полетел на землю.

Вскочил мигом, о боли не думал — только конь! Каково ему, не убежит ли? Дядя Вася предупреждал, чтобы не гнал, ехал шагом, а теперь? Гнедко, умница, отбежав в сторонку, остановился неподалеку. Смотрел, распрямив шею, на сброшенного наездника и тоже, видно, о боли не думал. А Васька тем временем уже взбирался ловко на коня. Ударил в бока пятками и, схватив плетъ, висевшую у седла, стеганул гнедого и помчался галопом. Сейчас увидят люди, что городской отдал коня, расскажут дяде Васе, прошил стыд — что делать? Васька сделал круг, развернулся, рысью направил Гнедко к стайке мальчишек.

— Моя очередь, — торопил второй брат.

— Слезай, я не разрешаю! — закричал Валё.

— Ха-ха-ха, кто ты такой? Это колхозный конь, понял, нет?!

И Васька передал брату коня. И теперь тот покачал, не так прытко, бережнее: этот все-таки был Витька.

— Теперь я! — галдели мальчишки.

Валёк бросился к своему брату Вовке.

— Скажи им!

— Все, харэ, — брал коня под уздцы Вова.

Его послушались.

— А давай соборемся?! — с растопыренными руками тотчас пошёл на городского Ваську: Валёк уже различал двойняшек.

Были Васька с Витькой постарше, второклассники, но ростом Валё не выше. Только очень плотные.

Сцепились. Худенький Валёк к неожиданности местной пацанвы уложил крепко сбитого Ваську на раз-два.

— Это я нечаянно упал, давай еще.

Второй раз повторилось то же самое. И Валёк держал на лопатках противника до счета десять.

Вызвались другие бороться, но и этих он укладывал.

Конечно, Валёк не то чтобы хитрил, но отец научил его двум приемчикам. Нужно обхватить соперника за пояс, а подбородком надавить чуть пониже ключицы, в ямочку. Второй сложнее, но тоже действует безотказно: низко склониться перед соперником. Тот, как пить дать, обхватит сверху, припав грудью к спине. Тогда нужно крепко взять его руки, сплетенные на твоей груди, и присесть. Противник кувырком летит через тебя. Только успевай развернуться и придавить его всем телом.

Деревенские верить не хотели, что какой-то городской их одолевает.

— А давай по драке, давай по драке! — Васька кинулся с кулаками. И двойня его туда же.

— Двое на одного! — это Вовка вступился за своего брата.

И все мальчишки кинулись — кто за кого?

И такой щелчок бича раздался над озорной ватагой!

Братка Леша, восседая на высоченном сером жеребце, грозил стегануть бичом. Длинный кнут свистел в воздухе, казалось, вот-вот, и зловещая эта змеюка настигнет именно тебя.

Отыграв мелодию кнута, Алексей спрыгнул с коня.

— А чё этот соколадный из себя корчит?! — смело стоял перед взрослым Васька.

Братка Леша с ходу крепко схватил того за ухо.

— Я тебя научу свободу любить!..

Потрясал в воздухе он Васькиной головой. Алексей, по другой линии, по матери, также доводился Ваське с Витькой сродным братом. И по-родственному имел право поучить младших. Но какая из этого вышла учеба!

Васька успел извернуться и вцепиться взрослому брату зубами в запястье! Да так, что не оторвать! Алексей таскал его туда-сюда, как пса, наконец вырвал руку. И пока, подняв на уровне глаз, в оторопи глядел на проступившие красные полукружья, Васька уже летел на «учителя» с большим земляным комом. Разъяренный братка Леша ударами кнута загнал Ваську в угол меж заборами, но и это не остепенило мальчишку. Он бросился навстречу и боднул старшего брата головой. Алексей теперь схватил Ваську за оба уха, приподнял в воздух и затряс, повторяя:

— Я тебя научу свободу любить!

Валё явственно увидел, что из-под уха Васьки течёт кровь. Да и мочка уха заметно отслоилась от головы.

— Братка Леша, братка Леша, — кинулся он на выручку, — не надо, хватит!

Алексей словно этого и ждал. Отпустил Ваську:

— Ну, ты понял, понял?!

— Я вырасту, я тебя сделаю! — надрывным криком объявил боец сквозь слезы вместо понимания.

Лицо его было пунцовым, а окровавленное ухо надорвано, отслоилась мочка.

— Мы тебя сделаем, — прокричал его двойня Витька, который отбежал метров на пятнадцать и всё время стоял поодаль.

— Деятели нашлись! — без гнева проговорил Алексей.

И, уже в седле, удерживая ретивого коня, обратился к Валё:

— Братка, а ты что к нам не приходишь? Я мёд накачал. Приходи... с Вовкой приходите! Да все приходите, — окинул взглядом мальчишек, — всем хватит!

И пустился вскачь. Какой коняга был у него, земля тряслась!

— Ну, ты здорово его, здорово! — стали окружать пацанята Ваську, теперь явного героя и вожака.

Да, если бы «по драке», спустя годы вспоминал минувшее Валерий, ему вряд ли бы удалось одолеть Ваську, про которого и впредь говорили, что по нему тюрьма плачет. Каково же было удивление, когда через десятки лет, далеко от Алтая, в городе Тольятти, увидел Василия на доске почёта «АвтоВАЗа». Остался парень в приволжских землях после службы в армии, пошёл на завод, женился, и неуёмность его, дерзость природная направились в иное русло.

Валё же тем злополучным днем вернулся, как обычно, на коне, привязал поводья к столбику у прясла. Тетка Нюра во дворе взбивала масло. Маслобойка — устройство, похожее на насос. Выдолбленная и отшлифованная внутри метрового примерно отрезка бревна емкость, в которую вставлен деревянный поршень с ручкой. Наливается молоко, и туда-сюда, туда-сюда поршнем.

— Теть Нюр, давай я поделаю, — вызвался Валё.

— Да тошно мнеченьки! С лошади, чё ли, упал? — подняла та голову.

— Ничего я не падал.

— По лицу-то полосы от хвоста! Сам-то не ушибся?

— Не ушибся.

— Иди умывайся. Господи...

В доме, на стене между окнами, висел портрет тети Полины, младшей из десяти детей. Была она в гимнастерке, со змеей на лацканах — знаком медицинской военной службы. Волосы, стриженные чуть выше плеч, уложенные набок. Глаза большие, как у мамочки. А значит, карие — почти у всех в родне карие глаза. Хотя есть и голубые — у братки Лёши, сына дяди Прони. У всех детей дяди Евсея тоже голубые, но такие, с отливом синевы. Дядя Евсей остался за хозяином среди братьев и сестёр, когда умер их отец — Михаил. Скончался он, будучи в расцвете сил, от тягучки — ездил в Бийск продавать масло, возвращался в июльский зной, который бывает на Алтае в предгорье. Вспотевший, напился из родника. Разница температур скрутила тело.

Евсей Михайлович, старший из братьев, был могуч, широк в кости, семью держал в узде. Объявил: «Нечего девкам в школе делать. Пусть вяжут!» Так, и тетя Нюра, и мама Клава не умели читать и писать. Мамочка взрослой уже, за

тридцать, окончила двухмесячные курсы ликбеза — программа ликвидации безграмотности под руководством наркома Луначарского. С трудом, по слогам, но читала.

Портрет был сделан с фотографии, присланной тетей Полей с войны. По надписи на обратной стороне также можно судить, что и она, младшая, окончила ликбез. Тогда этого было довольно, чтобы стать медсестрой. С войны тетя Поля не вернулась.

СЕРЫЙ

Валё не терпелось отправиться к братке Леше. Медку поест, пока он жидкий, не стухнул, но главное — попроситься на Серого. Посидеть хотя бы на жеребце! Но расторопная тетка Нюра завелась с блинами: картошка и блины были любимым его кушаньем! Позже, в больших городах, других семьях, Валерий удивится, что блины сначала выпекают, складывают в стопку. Потом сворачивают конвертиками и только тогда едят. В его родне блины подавали сразу со сковороды: один печёт, другой ест. Большой, тонкий, тетка Нюра бросала блин на тарелку перед Валё, племянник сворачивал его рулончиком, макал в растопленное сливочное масло. Как откроет он позже для себя и то, что у Гоголя Чичиков также ест блины, сворачивая рулоном и обмакивая в растопленное масло. С единственной разницей: Чичиков укладывал друг на друга их сразу три, что все-таки, наверное, является гиперболой для пушей характеристики героя.

Жил братка Леша на другом берегу реки, за мостом. Серый здоровенный жеребец стоял у ворот, привязанный к столбу. Валё приостановился. Конь был в седле, и стремяна свисали по бокам. Дом Алексея огораживало не прясло, плетенное из веток ивы, как у всех старых дворов на правом берегу, а дощатый забор, как у них в городе: Валёк, изображая канатоходца, не раз ходил вокруг дома по забору, да и сваливался не раз, угадывая пахом на заострённую штaketину. О-а-ай!

Валё отвязал коня, поставить ногу в стремяна не получалось: высок Серко. Потянул за узду к забору, сам на забор — и в седло. Подергал поводья, ткнул ногами в бока. Конь ни с места. Плеть была здесь же, у седла. Легко хлестнул. Как вко-

паннный. Хлестнул сильнее... И с места, будто со старта, жеребец пустился галопом. Валё натягивал поводья, пытаясь замедлить бег, тянул вправо, влево, но жеребец мчался прямо. А прямо — это к реке, к месту, прозванному в деревне Омут, к намытому высокому берегу. Валё слышал, что бывает — кони «несут», и невозможно остановить. Много позже довелось читать, как Гришка Распутин тем и поразил изначально деревню, что встал на пути тройки и взглядом остановил понесших лошадей. Валерий особо это отметил, потому как его, которому еще и семь не успело исполниться, жеребец нёс, а он тщетно изо всех сил тянул на себя узду. Краем глаза видел, что из дома выбежали люди, кричали, причём жена Алексея несла на руках ребенка, а конь нёс, и речка с высоким обрывистым берегом приближалась.

Вот он, край, и сейчас с обрыва... Конь резко остановился. Валё проехал по шее скакуна и... приземлился ровно на ступни. Не упал. Не пошатнулся. Стоял, как штырь! На краю высокого берега лежали доски. Старые, сплошь с торчащими гвоздями. Откуда они здесь, зачем? (Скорее всего, был помост для полоскания белья, и его разобрали, стаскали на высокое место без зарослей для просушки.)

Валё стоял не двигаясь, на окаменелых ногах. Жена Алексея, успевая качать младенца, голосила, что конь не объезженный, дурной, как твой братка! А потом все смолкли и замерли, обнаружив, что Валёк стоит между торчащими гвоздями. Вокруг ступней так, как оковы. Женщина, молодая, девушка на вид, по-бабы запричитала. Алексей снял маленького братку с досок.

— Я же его только объезжаю, — говорил братка Леша, — он же молодой, это же не мерин. Жеребец!

— Ох, страху-то натерпелась...

Валё и самому было до сих пор страшно. Всё тело подрагивало. Теперь он понимал Вовку, назвавшего коня нехорошим словом. Но все равно зря. И Вовка тогда, и он только что — сами же виноваты! А кони — они же ко-ни-и! Лошади!!!

Ах, какой у братки Леша был вкусный мёд! Темный, смолистый. Дягилевый. С пористым хлебом из русской печи!

Пройдут годы, и взрослый Валерий снова будет у Алексея в гостях. И теперь уже его двенад-

цатилетний сын без спроса заберется на стояще-го у ворот коня. И также высыпят из дома люди, бабы запричитают:

— Слезай, это же жеребец, дурной, как хозяин!

— Скажи ему, — это уже к отцу, то есть Валерию, — чтобы слез. Одним разом не натешись-ся!

Потом братка Леша за гранёной рюмкой на крепкой высокой ножке будет рассказывать городскому гостю о деревенской жизни. К той поре Алексей окривеет, и из левого глаза станет постоянно сочиться слеза. Оттого рассказ, хоть и сбивчивый, нетрезвый, будет впечатляющим, сермяжным. Валерий будет долго, с интересом слушать, пока вдруг не откроет, что брат пересказывает ему роман «Тени исчезают в полдень». Стопку «Роман-газеты» с зачитанными и не вырванными для иных нужд листами он заметит еще раньше, на этажерке со столь же зачитанными книгами с потемнелыми переплетами. Литература и искусство, знать, имели на пастуха Лешку серьезное влияние. Так, глаз Лешка потерял, когда хлынули в нашу жизнь фильмы, прославляющие восточные боевые искусства. Леша-пастух, уже далеко не молодой, за праздничным столом стал доказывать, что он служил на китайской границе, владеет кунг-фу и, на спор, может вышибить головой дверь. Двери в Сибири делают под морозы, полотно толстое, из массивных досок, а засовы кованые. Разбежался и... как гласит молва, спор выиграл. Но с той поры — полуслеп. Не печалился, не жаловался на свою жизнь.

— Вот если бы поднять наших дедов-прадедов, — станет истекать его глаз, как вулканическая порода, — что бы они нам сказали? Они тайгу корчевали, поля возводили, — братка Леша широко поводит рукой, а потом смахивал слезу, — а теперь до самых дворов всё согрой затянуло...

А сын Валерия Егорка так и не отойдет, всё будет смотреть на Лешкиного коня, серого, необъезженного...

МУХОРКА

Лето близилось к концу. За Валё приехала мамочка. Мамочку — Ирину Михайловну — необыкновенно уважали и в городе. А знало её

почти всё Заречье — повар-бригадир столовой № 1 на базаре, откуда и уходили шофера по Чуйскому тракту в Монголию. «Раздача» в столовой, где люди получали съестное, была открытой — проём во всю стену. Так что повара были «в живом экране» — все их видели и знали. В углу зала располагался буфет с горячительными напитками. Шоферá, уходя в сорокаградусную зиму в дальний рейс, могли позволить с пельмешками на тарелке горкой и сто пятьдесят «беленькой»: алкотестеров у милиции тогда не было. «Беленькой» звали водку, а любое вино — «красненькое». И это было на ту пору единственное в Заречье подобное заведение!

Родня же Аришу — няньку Аришу — боготворила. Всем она помогала, и племянники, приезжая учиться в город в техникумы или профтехучилища, жили у «няньки». Приходилось она им тетей, но звали нянькой, как принято звать старших сестер. В деревне тогда на Алтае с продуктами было всё в порядке — свои хозяйства, но денег получали сущие копейки. Поэтому приезжали в город племянники в обносках, и нянька Ариша покупала им новые вещи. Даже спустя годы дядя Яшина дочь Галя, всхлипывая, вспоминала, как в пятнадцать лет впервые надела новое пальто, подаренное «нянькой»: до того всё носила с чужого плеча, сменившее нескольких детей.

Но даже не в этом дело, не в покупках и опеке. У мамочки, неграмотной, выросшей в алтайской деревне женщине, был особый человеческий такт. Врожденный аристократизм.

Взрослым Валерий не мог припомнить ни одного случая, чтобы мамочка на кого-то повышала голос, тем более кричала. Смеялась, правда, тоже крайне редко. Улыбалась, и тогда веселые искорки живо бегали в её больших карих глазах. И движения Ирины Михайловны были выверенными: ничего лишнего, никакой суеты, словно проходила она специальные уроки этикета.

В доме дяди Яши устроили проводины — а это был родительский дом, где и дядя Яша, и мамочка, и остальные братья и сестры росли. Как уж они размещались в обычном доме-пятистенке — трудно сказать. Были тогда в домах полати — двухъярусные полки вдоль стен. Сейчас уже стояли железные кровати с большими набалдашниками по углам спинок и панцирными сет-

ками. Стол располагался посреди комнаты. А в пролете между окон, на стене, ближе к потолку висел портрет тети Поли в военной форменке, какой был и в доме тётки Нюры, и у них с мамочкой в городе.

Мамочка хоть и была гостьей, но как-то скоро гостеприимной хозяйкой распоряжалась застольем, угощала, подкладывала еды. В деревне же было как — лук он лук и есть, укроп, огурцы — тоже сами по себе. А мамочка сделала салат, да еще и с заморским названием — «Оливье».

Все сидели, а мамочка чаще стояла, угадывая как раз под портрет тётки Поли. И так же они были схожи, девятая по очередности рождения Ирина и десятая Полина. Портрет был чёрно-белым, но так и виделись большие карие внимательные глаза с черносливом зрачков.

Полину помянули. Валё уже доводилось слышать историю короткой жизни и невероятной гибели на войне великой тётки Поли. Мамочка рассказывала её сдержанно, с грустной любовной улыбкой. Тетя Нюра всплескивала руками и с силой хлопала себя по бокам. А дядя Яша, всхлипывая, размазывал мокроту натруженной лапшей.

Но по-настоящему Валерий смог проникнуться этой историей только годы спустя, когда сам покинул родину и немало тосковал по родине. А еще больше — через десятилетия, когда с младшей дочерью Василисой описывали её для странички «Бессмертного полка». Потомство во взрослой жизни Валё дал немало: детки радовали появлением на свет с размахом почти в полвека. Василиса была очень поздним ребенком, и по дате рождения от родной бабушки её отделяло без малого столетие. При этом она явно унаследовала бабушкины черты: карие глаза и ровность, несуетность характера — предки словно запросились через неё посмотреть на мир земной.

В деревенской карповской родне сестру бабушки называли не двоюродная бабушка, а — Великая тетя.

«Великая тетя», — называли Василиса с папой историю для «Бессмертного полка».

«В семье Карповых было десять детей. Братья ушли на войну все, кроме Прокопия, которому ещё в молодости отхватило руку сенокосилкой. Старшие сёстры работали в колхозе. Ирина, ба-

бушка Василисы, трудилась поваром в воинской части города Бийска, где формировались сибирские полки.

А младшая, Полина, ушла медсестрой на фронт. Ни замуж выйти, ни детей родить не успела. Сколько вытащила раненых с поля боя? Скольких боевых друзей потеряла? Может, и любимого: столько лет девушка на войне, не могло же обойтись без любви? Но, зная, если и был он, суженый, то не дожил до Победы. Поля же Победу встретила в Берлине. И наконец, когда, казалось, война позади, в военном эшелоне отправилась на восток, где дом и родные. И «мама-старушка» — так звали мать не только десять детей семьи Карповых, но и внуки. Так она и осталась в родовом предании: «Мама-старушка».

Великая тётя Поля, в те годы девушка Поля, миновала в эшелоне Москву, Урал, и вот уж Новосибирск, а там — пересадка, ночь на поезде и — Алтай! Родина! Но военный эшелон, не останавливаясь, миновал Новосибирск и ушёл дальше. Великая тётя Василисы Карповой — Полина Карпова — стала участницей войны с Японией на Дальнем Востоке.

Мимо Новосибирска на «японскую» проехал и великий дядя Василисы — Яков Михайлович. Он рассказывал, как ждал, был уверен, что после Новосибирска дорога будет лежать в сторону Бийска, на юг. Но поезд шёл на восток.

От него-то и стало потом известно о кончине Полины. Там, на «японской», военная медсестра Поля получила с Алтая письмо, где сообщалось: «умерла Мама-старушка». Младшая из десяти детей Поля прочитала его и, по рассказу дяди Яши, как стояла, так и упала замертво от «разрыва сердца». Пройти всю войну под градом снарядов и пуль — и умереть от разрыва сердца, — инфаркта, как говорят теперь! Сколько же в этом сердце накопилось боли?! И только тем она, не познавшая жизни с мужем, детьми, видно, и жила, утешалась: вот кончится война — приедет домой, к Маме-старушке...

Брат её, Яков, прошёл «германскую» без особых ранений. А там же, на «японской», ему взрывной волной срезало пальцы ног. «Молодые, — дяде Яше на победную пору было тридцать пять, — в деревню пошли: там удэгейцы с

алтайцами схожи, наших привечали. А я прилёг — и сапоги снял. Чуть в сторону успели отойти они, молодые-то наши, и накрыло снарядом. А я как лежал на спине, так пальцы ног ровненько, — показывал он рукой, — срезало». В те годы о таком мало горевали: жив...

Дедушка Василисы — отец её папы — воевал, как многие сибиряки-охотники, в лыжном батальоне. Получил тяжёлую контузию. Дожил почти до девяноста лет. Во времена распада страны оказался гражданином другого государства, где в сумятице нового бытия пропал без вести. Причина видится в одном: он, ветеран и инвалид войны, получал очень большую пенсию в обнищавшем азиатском крае...

Любопытно: у большинства ровесников Василисы Карповой в Великой Отечественной войне участвовало поколение прадедов или даже прапрадедов. У Василисы — дедушки и бабушки. И надо было дедушке Саше похоронить первую жену, которая в войну просто надорвалась одна с тремя малыми на руках, чтобы встретить бабушку и «сойтись». Тогда, после войны, говорили так: «сошлись».

Для бабушки Ирины, которая тащила на себе всю громадную родню, трое детей не стали обузой. Всех подняла, вырастила. Ещё и на материнское счастье в тридцать восемь родила сына — папу Василисы.

Когда родственники ныне смотрят на фотографии Василисы, все единодушны: глаза — бабушкины. Такие же глаза были и у великой тётки Поли. Наверное, и у мамы-старушки. Хотя много среди Карповых и голубоглазых. Василису на Алтае очень ждут — кареглазые и голубоглазые Карповы, как в старые времена, очень роднятся...

Дядя Яша взял гармонь: играл он не бойко, не лихо, но маленькая двухрядка в больших руках сладко попискивала для отдушины. Петь Карповы не пели, разве что за столом случался певчий человек. Плясать — вот это да! Пол дрожал. Но чаще застолье наполнилось историями. Охота, рыбалка, работа.

Дядя Яша все поглядывал в окно, где было видно, как младшая сестра его, Ариша, потихоньку покинув застолье, поила из ведра кобылу Майку, стреноженную за воротами на полянке.

— Маленька-то, она по лошадям помирала, — шмыгал в умилении старший брат, потрясая головой. — Когда раскулачивать приходили, она — в деревне увидела, как коней выводят, — и домой бегом! С ходу — на Мухорку. Коня так звали, ох, и конь-то был, Мухорка! Буланой масти, как песок на солнце! А грива и хвост чёрные, как смоль! Ариша его шибко любила! Я за ней запрыгнул, и мы вдвоём без седла — за околицу и — в лес. Ариша-то така бедовая была, неналазная!

Валё было очень удивительно, что мамочка в детстве была «бедовой».

— Как это — «неналазная»?

— А вот по всем деревьям лазила, на самую верхушку заберётся... Смотришь снизу, думаешь, ну...

И позже, взрослым, Валерий часто вспоминал этот рассказ дяди Яши, удивляясь, что мамочка в детстве была совсем иной. То ли она так изменилась с возрастом? Или все же оспа, которой мамочка тяжело переболела в четырнадцать лет и оставила следы на лице, сделала её «внутренним» человеком?

— Вас же тогда середняками записали. Не ускачи вы с нянькой Аришей — и раскулачили бы, да и сослать могли? — заметил Лешка. — У вас же лошадей-то было одиннадцать?

— Маленько пофартило, — махнул дядя Яша. — В комиссии этой троюродный брат наш был. Стали считать, а он и говорит: «Что вы на одну семью записываете? Они только в одном доме живут. А так у Евсея своя семья, у Прокопия — своя. А меньшие, те с матерью одной, без отца. Нас в середняки и записали...

Деление на бедняков, середняков и кулаков разительно отличалось: если крестьянина с тремя лошадьми в Центральной России причисляли к кулакам, то в Сибири — скорее к беднякам.

ЖУРКА

Он никому не сделал ничего плохого. Никому. Никогда.

Ребятня прилипала к забору и смотрела в щели. Не где-нибудь в зверинце, а там, в огороде, вышагивала длинноногая птица, рылась клювом в ботве, что-то отыскивала и, задрав голову, сглатывала. Сквозь изгородь просовывались маленькие руки с хлебным мякишем,

зерном. Журавль подходил и, шекоча ладони, склёвывал что давали.

Улететь он не мог. Правое его крыло топорщилось, и при взмахе было видно, как оно изломано, согнуто, будто рука в локте.

И когда высоко в небе проплывали забавными уголками караваны журавлей, Журка бежал вдоль огорода за ними, хлопал крыльями и неистово, словно требуя справедливости, курлыкал. Ребятишки всей душой сопереживали своему любимцу, старались помочь: поднимались на цыпочки, тянули головы вверх, и, казалось, еще чуть-чуть — и Журка взлетит, но этого «чуть» не хватало. Журка добегал до противоположной изгороди и еще долго бил крыльями и кричал вслед улетающей стае.

— Все равно он когда-нибудь улетит, — упрямо выводил какой-нибудь мальчишка побольше и поделовитее. — Крыло выправится. Кормить надо лучше.

— Конечно! Поправится, наберется сил и улетит, — соглашались наперебой остальные.

Валё тоже очень хотелось, чтобы его Журка смог летать — взвился бы однажды над огородом и встал во главе одного из уголков. Валёк был бы только рад, хотя, признаться, и жалко. За лето он привык к Журке, сдружился с ним. Играл, кормил его, на ночь запирали в сарай, где из камыша и травы устроил ему гнездо. И с тех пор, как появился у него журавль, все в квартале, даже взрослые, стали к Валё проявлять внимание, интересоваться, как там Журка.

Валёк даже приосанился, посерьезнел. А как же? На его плечах забота и ответственность. И жизнь на глазах у людей. Они ведь с Журкой почти артистами стали. Да! Только выходит Валёк в город, как за забором:

— Журка, клюнь! Клюнь, Журка!

Валёк неторопливо, «с форсом» снимает кепку, наклоняется и... Журка — раз! Как долбанет его клювом в затылок. Часто Журка бывает чересчур старательным и клюет так, что голова трещит, но Валёк терпит. Зато другим радостно! Почешет затылок, потрясёт головой, прикрикивая, и улыбнётся: мол, мозги набекрень, а здорово. А ему и правда хорошо! За забором — смех, просят ещё, головы в щель суют, кричат:

— Журка, меня клюнь!.. Пусть лучше меня!..

Расставаться с другом всегда тяжело. И всё-таки, когда бежит Журка за стаей и кричит, Валё, может, больше всех хочется, чтоб он полетел. И крик этот сносить Валё не по силам. Он закусывает губу и тужится, мысленно помогая Журке и едва сдерживая слезы. И виноватым отчего-то себя чувствует.

— Давай-ка, друг, домой, за уроки, — зовёт с крыльца отец. — Поиграл — и хватит. Ты теперь школьник, надо заниматься, а Журка подождёт. — Он стоит в военном галифе и грубом толстом свитере, пружинистый, сильный.

Валёк гордится отцом — он настоящий охотник! У него не двустволка, как у других, а карабин с оптическим прицелом, и полозья широких лыж покрыты тонкой оленьей шкурой. Он подолгу, месяцами, живет в тайге. Привозил сыну маленького суслика.

Валёк играл с сусликом Сосей на улице. Подошел пьяный сосед дядя Шуня и «пошутил» — ткнул папиросой суслику в нос, только Сося увернулся и, не будь дураком, цапнул шутника за палец. Дядя Шуня взбесился, схватил Сосю, ну, и... о землю... Валёк заплакал, вышел отец, увидел Сосю, помрачнел — и дядя Шура летел кубарем аж до своих ворот.

Вскорости отец привез Валё лису. Ее потом ночью прямо из клетки украл.

Валёк заманивает журавля в сарай, приговаривает:

— Что, друг, неохота идти? Надо. Я теперь школьник, надо заниматься. Если сразу учиться хорошо начнёшь, то так потом и будешь. Только, знаешь, эти палочки у меня никак ровно не получаются. Все пляшут...

Когда Валёк зашёл в избу, отец провёл ладонью по его голове, взъерошил волосы и, озорно улыбаясь, заговорил: — Что, брат, может, отдадим журавля? Тебя, я гляжу, от него за уши не оттащишь... А ты теперь школьник, надо заниматься. А то учиться не начал, а уж силком за уроки приходится сажать. Это не дело, брат.

Валёк, потупившись, молчал.

— Отдавать надо. Зима на носу, где его держать? В сарае он замёрзнет... Вон из детсада приходили, просили... У них там есть условия...

— Я сам всегда за уроки буду усаживаться, только Журку не отдадим.

— Ну-у, брат... Ты же большой, а там малень-

кие. Их много, всем на радость Журка будет.

Конечно, если всем, то отказывать неудобно. Но ведь и тут всем. Каждый день по улице мимо их огорода столько людей проходит, и все смотрят! А свои, соседские, так просто-напросто заходят и играют с Журкой так же, как и он, Валё.

— Нет, не отдадим. Тут тоже многим на радость. За ним уход нужен, а они не смогут. Если надо, пусть сюда приходят, смотрят. Тут недалеко. А за уроки я сам буду садиться.

— Ух ты, единоличник, — усмехнулся отец и снова потрепал сына по волосам. — Жить негде ему, говорю. — Поглядел на упрямый молящий взгляд, сомкнутые губы, добавил: — Ладно, поживем — увидим.

А дня через три:

— Вот он! Во-от он! Красивый како-ой! — услышал Валёк за забором.

Меж штакетин враз появилось несколько десятков носов. К доскам жалась мелюзга лет по пять. Дверь ворот приоткрылась, и во двор заглянула женщина. Жучка, мелкая чёрная гладкошерстная дворняга, залаяла. На крыльце появился отец. Закрыл в будку пса, кликнул сына. Валёк понял: прибыл весь детский сад с воспитателем, и это серьёзно.

— Ну что? Давай решай, — сказал отец, когда Валёк подошёл. — Видишь, сколько их. Пришли просить.

— Ма-альчи-ик, отда-ай н-ам жу-рав-ля-а-а! — затынула какая-то девчонка.

И наперебой загалдели остальные:

— Пускай он у нас живёт!

— У нас хорошо!

— Мы его кормить сами будем!

Валёк поглядел на Журку. Тот беззаботно, не подозревая ни о чем, рылся в ботве. Они кормить его будут. А что он, Валё? Думают они — нет, каково ему без Журки?!

— Он все равно скоро улетит. Я его почти вылечил, — отговаривался Валё.

— Вот и пусть немного у нас поживёт. Пока не улетел, — женщина присела, говорила нараспев, — у нас есть кролик, ёжик, но всем ребятам хочется журавля. Все уши прожужжали мне про твоего Журку.

— Надо уметь, Валё, и о других думать. Смори, сколько их, — добавил отец.

Малыши зыркали во все глаза. Ждали.

— Откажем мы им сейчас, не отдадим журавля — знаешь, сколько будет горя, слёз? А отдадим — столько радости!

— Валё, ты же будешь к нам приходить. Тем более нам все равно твоя помощь потребуется.

— Мальчик, отда-а-ай, — снова запела девочка.

— Ладно, — решает Валёк, — берите.

И как камень с плеча свалился, задышалось легко.

— Только вы хорошо следите за ним. Кормит пусть кто-нибудь один, надёжный, а то закормить можно. Двигаться станет мало, разжиреет и заболит. Без присмотра не оставляйте, на ночь на замок запирайте... — спешно давал Валёк последние советы.

Рядом с детсадом — магазин. Идут люди за покупками и непременно хоть на полминутки задержатся, посмотрят на журавля и детей вокруг него. Валёк тоже частенько стоит в толпе у зеленой оградки. Во двор не заходит. Стоит себе, любитесь Журкой, поглядывает на ребятшек. А люди рядом не знают ничего: кто он, какое отношение имеет к этой красивой птице? И хорошо ему отчего-то, светло. Уйдёт и всё вспоминает: как смотрели люди, с каким торжеством какой-нибудь шалопай подставлял голову, а потом чёсаясь и морщился точно так же, как раньше он, как воспитанно и гордо вёл себя Журка.

Осень стояла сухая и теплая. В огородах собирали ботву. Валё сгребал сухую траву в кучу, представляя, как бегал бы сейчас рядом Журка, вытянув шею.

Под дуновение ветра огородное пугало в старых лохмотьях загремело боталом, сооружённым из консервных банок и висющим на «расставленных руках». Черенок граблей как-то вмиг превратился в копьё, готовое сразить Кошю Бесмертного, какого в кино про Илью Муромца показывали. Сделал выпад, нанося укол, проткнул насквозь. Пошёл на вторую атаку, зацепился ногой за сухой стебель ботвы, вросший в землю, растянулся по земле. Только резко вскочив, понял: левым глазом угодил на зубец оброненных граблей. Боль по лицу слева страшная!

В зеркальном отражении глаза не было совсем: белая слизь! Хотелось всё вернуть вспять, отнести к забору грабли, но ничего не поделаешь. Теперь он косой! Мама Клава рыдала: «Да

тошно мнеченьки!» И мамочка силилась не плакать, глубоко вздохнув, погладила молча сына. Валё ждал, что отец наподдаст: «Ничего, — потрепал по чубу и он. — Полководец Кутузов без глаза был, Наполеона победил!» А дружок Васька Богачёв, которого его отец часто брал с собой на охоту, посмеиваясь, как всегда, сказал: «Да чё ты?! Так целиться удобно. Прищуриваться не надо».

Несколько дней Валё не ходил в школу, мамочка и сестра Рая водили его в больницу, врачи глаз промывали.

Не заглядывал в эти дни Валё и к Журке.

Вдруг утром заметил — выбелил землю иней. Приближалось похолодание.

Решил: надо забежать в детсад, подсказать, чтоб о теплом жилье для журавля позаботились (он у них тоже пока жил в сарайчике). Путь лежал мимо магазина, где у входа, устроившись на деревянном крыльце, согнутая пополам, разговорчивая бабка Сатуниха продавала семечки. Валё она всегда угощала одной-двумя пригоршнями.

— Ячмини-то я лечу. — Старуха присматривалась к Валё, глаз которого был затянута повязкой. — Плюнул в глаз, да и делов-то! А тутока...

Валё подставил ладонь для протянутых в пригоршне семечек.

— Журке дам, он семечки любит!

— А ты не знаешь ничё ещё?

— Чё, баба Нюра?

— Вишь, журавля-то нету.

Валёк посмотрел на двор — пуст. Перевел взгляд на старуху.

— Убили его сёдни ночью! — выпалила она.

Валёк провалился куда-то и полетел. Бабка часто хлопала глазами и поджимала губы.

— Как — убили?! — выдохнул Валёк. — Как — убили?.. Баба Нюра?.. Как?..

— Как, как. Известно, как убивают. Камнем кинули — и всё. Фулиганья-то рази мало? Иду давеча утром, глядь — а он лежит, и голова едак набок. Воспитательша тут же бегает, слезами заливается: «Чё я ребятёшкам скажу?» А чё говорить? Кто ж на дворе-то оставляет на ночь? Я же говорю, когда общественный, никакой заботы не жди, один на другого пронадеются. Сколько у парня жил... Ты чё, Валёк? Господь с тобой, ты чё? На вот семечек...

Валё словно понесло: и дорога, и зелёный заборчик, и калитка — все смешалось, запрыгало, расплылось от слёз. Убили! Журку убили! Кто?! Как? Его все так любили! Так ему радовались! Почему же?! Он был добрый и доверчивый! Он не мог улететь, и его убили! Был Сося, была лиса — их не стало. Теперь нет Журки. Кто-то кинул в него камень. Просто взял и кинул!

Валё влетел в одни двери, распахнул другие. Дети стояли кружком, а посередине — воспитательница.

— Играете! Как вы можете играть?! Почему вы его не заперли на ночь? — закричал он. — Я же вам говорил!

Воспитательница была ошарашена. И развела руками, не зная, о чём говорить. О журавле ли, о мальчике с завязанным вдруг глазом...

Встревоженно глянула на детей.

— Мальчик... мальчик, успокойся... — Мягко подошла к Валё, взяла за плечи, чуть присев. — Пойдем отсюда, пойдем...

— Я же говорил!..

— А Журка улетел, — торопливо перебила она Валё, видно, заготовленными ранее словами. — Летели сегодня утром журавли, и он с ними улетел... Поднялся и улетел.

— Что вы!.. Что вы мне врётесь?! Это вы им говорите! — Валё мотнул головой на притихших детей, вырвался и закричал, захлёбываясь: — Он не мог улететь, у него крыло перебито! Не мог, понимаете, не мог?! Вы закрыть его забыли. Я знаю! Я же вам говорил, а вы...

Прибежала вторая воспитательница, та, что приходила просить журавля. И тоже сначала долго не могла ничего сказать.

— Мальчик... Валё, Валёк, пойдем. Ты большой, пойдем. Мы доктора вызвали, и он вылечил Журку... А у тебя что с глазом?

Она легко подталкивала Валё в спину, и они оказались за дверью. Женщина долго еще говорила нараспев о докторе, о Журке...

А там, в комнате, — Валёк слышал, — дети загалдели:

— А почему Валё одним глазом плачет?

— А что он говорил? Разве Журка не улетел?

Валё брел по улице, размазывал по щекам слезы. Он их вытирал, вытирал, а они текли и текли из того и другого глаза. Так что пришлось соврать повязку.

Он долго еще рыдал в сарае, забившись в угол и сидя на корточках. И всё смотрел на Журкино гнездо...

И представлял сквозь слёзы, будто наяву... Как снял со стены тяжелый карабин, положил его в мешок. Туда же сунул кота. Как набил патронами карманы и пошел в детсад, привязал к скамейке у песочной ямы кота, приговаривая: «Потерпи, Барсик, немного, потерпи». А сам лег в песочницу.

Как нацелил карабин на улицу. И стал ждать. Он знал одно: он убьёт всех, кто может просто так кинуть камень.

Всех. Всех до одного.

Наутро левый глаз был совершенно чист — слёзы всё вымыли.

ПУДЕЛЬ

В послевоенные годы было такое понятие: «сошлись». То есть не поженились, не зарегистрировались, а намыкавшиеся за войну и годы разрухи мужчина и женщина сошлись: отец, похоронивший жену, с тремя детьми и мамочка — бездетная, но не одинокая, племянников свора, помогает всем.

В то время мужики поколачивали жен. Не все, понятно, но нередко. Считалось: если муж не бьёт, то уже хорош. А если еще и не пьёт, то цены такому мужику нет! Была еще категория оценки: работающий. Именно работающий, а не богатый.

Отец Валё — Степаныч, как его называли, — алкоголь на дух не переносил, и всех, кто прикладывался, считал пьяницами. Не курил, был на редкость мастеровит. Во всем словно куда-то опаздывал и никогда не сидел без дела. Если он не уезжал на охоту, то рисовал по известным сказочным сюжетам картины и продавал их на рынке; подшивал валенки, орудуя шилом и вытягивая дратву; подбивал сапоги, держа в зубах гвоздики, — делал так всё быстро, с напором, что порой от резкого взмаха вылетал за плечо молоток. А то брал мандолину и, мелко подрагивая медиатором, высекал обгоняющие друг друга трели.

Кроме этого, считался и считал себя большим грамотеем. Работал до войны учителем и даже директором сельской школы и, регулярно прочитывая газеты, слушая радио, которое висело в углу комнаты в форме чёрной воронки, при

редчайшей своей памяти обладал невероятной информационной нахватанностью.

Фамилия отца была Ладкин. Как он объяснял, от слова «ладить»: предки его были мастеровыми — «ладили». И церкви без единого гвоздя строили, и самовары латали, и блоху при желании подковать могли.

Отец очень ревностно относился к понятию «порода». Особенно гордился своим отцом — дедом Валё. Да как не гордиться?

Портрет деда Степана висел в зале революции Бийского исторического музея! Дед на нём был не дедом, а молодым круглолицым парнем в папахе с лентой наперекос, как у Чапаева в кино! Командир полка в Гражданскую!

Невозможно было представить что-либо более звучное и почетное, чем звание — герой Гражданской войны! Человек, бившийся и отстаивавший свободу народа!

Валё тоже дедом очень гордился и впоследствии на школьной экскурсии в музей показывал всем на портрет. Но один мальчишка, Бакшеев, вслух насмешливо усомнился, а за ним и весь класс.

Валё носил фамилию материнского рода — Карпов. А под портретом в музее ясно было написано: «Ладкин».

В маленьком сыне отец с пристрастием выискивал черты своей породы и со временем всё чаще с нескрываемым неприятием находил, что тот в карповскую породу.

К родне жены, в которой она души не чаяла, Степаныч относился свысока: люди неплохие, но тёмные. К выпивке тянутся — а этот пункт для отца был абсолютным приговором.

Мужики рода Карповых выпить были не прочь. Но никак не пьяницы. Много работали, всё по хозяйству умели, хотя ничем особым не отличались: ни редким ремеслом, ни красивыми песнями. Добротой — это да! Крепкие сердобольные мужики и не шибко видные собой, хотя и не дурнушки, угодливые женщины. Из семейства в десять братьев и сестёр, большинство из которых также породило по выводку, никто ни под репрессии не попал, ни под уголовные статьи. Середняки, как их в своё время верно определила власть.

Памятливая, как почти все безграмотные люди, мама Клава, родившаяся ровно за десять

лет до революции, рассказывала племяннику-сыну: «Шас-то хорошо стали жить, не то что ране. Ну, не совсем ране, когда еще ране было. Тада, бывало, нажарят ососков... А вы же не знаете, что тако ососки... Поросята, матку которы сосут. Оне как напоросятся, куды их?»

Мягкосердечные и покладистые Карповы в свою очередь относились к Степанычу, мужу дорогой им няньки или сестры Ариши, с заведомой усмешкой. Произнесут «Ладкин» — и поплыли улыбки, а то и смех. А как иначе? Степаныч приехал к ним в Кажу, сначала стал себе отдельно готовить, а потом и вовсе перебрался в дом к одинокой бабе в близлежащем селе, да ещё и чугунок с собой забрал, чтобы так же у неё отдельно себе варить. При этом — никто не спорит — печки сложил, у кого подрыжался, на зависть — стеночки в ниточку, отвесом мерь, и топятяся с треском, пожирая немного дров, да еще и с узором по рантику. В домах у Карповых сделанные ими печки также были жаркими, но без затей. И дровишек кушали два раза по столько. Ладкина, как умельца, признавали, но сквозь смех и неприязнь.

Братка Сеня, родной брат пастуха Лёшки, живущего в Каже, вечерами по субботам — тогда была шестидневная рабочая неделя — периодически шёл громить Степаныча:

— Та пошто няньку Аришу на всю Барду ославил?

(Село Кажа принадлежало к району Старой Барды, ныне Красногорскому.)

Сеня был невысок, но духовит, как все дети однорукого Прокопия. Когда-то мамочка приняла его после службы во флоте, одела-обула, оженела на доброй расторопной девке Анне, с которой трудолюбивый Сеня поставил по тем временам большой дом по улице Краснооктябрьской. Души он в няньке Арише не чаял. Как устроила его нянька, так всю жизнь Семен Прокопьевич отрубил на пилораме, но, имея кучу похвальных грамот, остался чернорабочим. Крытых цехов не было, на сибирском здоровом морозе щёки братки Сени за годы перетянули синие прожилки, а крупный вислый нос стал иссиня-красным, отчего Сеня выглядел горьким пьяницей. Он бы, конечно, таковым и был, но с Анной, кулацкой дочерью с литой, чугунной статью, разве попьешь? Сто пятьдесят по суббо-

там. Сеня изошрялся, заныкивал куда-нибудь в валенок четушечку, на которую жена, собираясь к вечеру на двор по нужде, обязательно натыкалась, второпях засовывая ногу в мужнину обувь.

Степаныч выпроваживал заступника, за которым уже спешила Анна, взашей, зная, что тот явится назавтра и будет стараться чем-то поспособить, заглаживая вину. Тетка Анна уводила мужа, ругая его, как малолетку. При этом с мужем Ирины Михайловны говорила, немножко пригибаясь, голоском умилительным, сомкнув у груди рученьки швей-мотористки. Так было и с другими женщинами — вот за глаза они его поносят, а при нём лыстятся, для пушей ласковости произносят имя в женском роде: «Александра Степаныч!»

Заносчивый, шумливый, резкий Степаныч был еще и собой пригож: лобастый, с крепким подбородком, уверенным взглядом и прямым, чуть зазнаистым от природы носом. Мужик — куда с добром!

Первой женой тогда молодого директора сельской школы стала его же ученица, семиклассница. В шестнадцать она уже родила первенца — Олега. По нынешним временам совратителю грозил бы тюремный срок. Но в те годы в деревне считали: не бросил человек, женился, да и не какой-нибудь там, а директор. Чего еще надо? Бабка Сатуниха, знавшая про всех всё, уверяла, что с войны Степаныч пришёл зверь зверем, бил махонькую жену вместе с тремя дитями. Так ли это? Жили они далеко от Бийска, в Новошипунове. Брат Олег, родившийся за пять лет до Великой Отечественной, уверял, что отец его мать пальцем не трогал, хотя и пришёл с войны другим человеком. А был Степаныч на двух войнах: финской, куда ушёл добровольцем по призыву страны к охотникам и лыжникам, и Отечественной, с которой вернулся по контузии.

Не поднимал руки отец ни на мамочку, ни на него, Олега. А воспитание ремнём в те годы было нормой. Наорать, что в ушах гудит, — это всегда пожалуйста! Так у него и голос такой, в доме говорит — на улице слышно! У мамы Клавы, невеликой росточком, тоже был низкий зычный голос: беседуют мирно со Степанычем, а за окном кажется — ругань стоит на чём свет!

Деревенские люди вообще говорили громко, а

переселяясь в города, речь их притихала. И чем больше город, культурнее среда, тем тише говор.

Соседи и родные твердили: вырастит Ирина Михайловна, или нянька Ариша, его детей — и поминай как звали!

Бабка Сатуниха, бессменно торговавшая семечками у Сотого магазина, выставив одинокий зуб и угощая Валё пригоршней, прямо причитала: «Оставит тебя твой папка сиротинушкой. Этих распахал, Райку токо выдаст — и жди его...»

Старший сын Олег служил в армии: Валё хорошо запомнил, как брат получил повестку и от радости опрокинулся на кровать, задрал вверх ноги: «Ура, в армию!» Он как раз окончил техникум, и с друзьями, тоже призванными на службу, они сделали прощальный заплыв по Бии. Четырёхлетний братец бежал по берегу на Лугах, а парни плыли по течению, не снимая модные кепки-восемиклинки.

В сухопутных войсках служили тогда три года. Олег за отличную военно-политическую подготовку, как отмечали в приказе, получил отпуск на пятнадцать дней и съездил к легендарному деду Степану в город Майкоп: пять дней из Благовещенска туда, пять обратно и пять у деда. Написал об этом отцу, рассказывая, что в Краснодарском крае поздним числом заслуги деда признали, он получает персональную пенсию и имеет хороший дом. Отец и прежде поговаривал про поездку к своему отцу, теперь же загорелся мыслью о переезде. Для домашних это звучало привычным фоном: куда-то ехать или перебираться отцу надо было всегда — с утра он мог говорить о Сахалине, где рыбный промысел и океан, и дома недорого, к обеду — о Средней Азии, где тепло и яблоки, а с утра действительно уматывал на Семинский перевал, где орехи. В Краснодарском крае срасталось всё — и тепло, и яблоки, и море — вот оно, и орехи, только не кедровые, а грецкие. И отцу, старику, ветерану и герою Гражданской, помощь нужна!

Дочь Элю отец выдал замуж за кузнеца Филиппа из Маралихи, что неподалёку от его родного Новошипунова. Жить молодые стали в Бийске: братка Филя устроился кузнечить в геологическую экспедицию, ему сразу же предоставили квартиру барачного типа у леса. И вы-

давали геологический паёк: тушёнку и много банок сгущенки. Добрый Филя, сухой, высокий, с русым волнистым чубом, всегда улыбающийся, проделывал по окружности банки две дырки, чтобы в одну попадал воздух для циркуляции, а из другой пить. И Валё выдувал целую банку белого сладкого сгущённого молока!

Младшей дочери Рае было семнадцать, парнишки-ровесники увивались за ней. Киномеханик Мишка маму Клаву с Валё в кино пускал бесплатно сколько хотят. Кино крутили в клубе Автодороги, зрительным залом служила небольшая комната, а экраном — обыкновенная простыня, повешенная на стену. Взрослые садились на расставленные загодя скамейки и табулаты, а дети — впереди на пол. Мишка колдовал возле проектора: прилаживал бобину с плёнкой, закладывал конец плёнки в другую бобину, тушил свет в комнате, слышалось мерное потрескивание вращающихся дисков, и пучок света с витающими в нём пылинками выводил на экран живую картину. Что с того, что изображение подрагивало, а звук дребезжал — Чапаев на коне, в папахе, пересечённой красной лентой, нёсся с саблей наголо!

Неграмотная, не знакомая с литературой вообще, мама Клава полюбила кино самозабвенно. И вновь шли они с Валё в клуб, и в десятый раз смотрели одно и то же. Рая тоже ходила иногда вместе с ними. И тогда киномеханик Мишка после кино провожал их до дома. А потом Рая оставалась постоять с ним возле палисадника, где цветисто рос куст сирени. В те годы юноши и девушки дружили года по три, прежде чем вступить в какие-то близкие отношения и пожениться. А Рая с Мишкой были совсем молоды.

Что могло бы случиться, не появившись в городе бродячий цирк? Расписной шатер с вагончиками расположился на базаре. Отец там коврами торговал собственной стряпни: Иван Царевич с Еленой Прекрасной на сером волке, Алёнушка с братцем-козленком. Рисовал он быстро, тыкал кистью в краску, проворачивал и бросал на холст. Получалось чётко, организованно. Конечно, потом подрисовывал тонкой кисточкой, отходя поодаль, чтобы видеть целое, при этом язык его обязательно вылезал на нижнюю губу, словно готовый слизнуть что-то очень сладкое.

Брал с собой торговать и Раю — на всё Заречье первую красавицу! Циркачи тут как тут! И опять Валё с мамой Клавой не единожды бесплатно смотрели представление, где лопоухий пятнистый пудель умел складывать и вычитать цифры, а разноцветные мыши ползли по натянутой веревке прямо в громадную пасть кота из папье-маше.

Артист с известной цирковой фамилией Дуров появился в их зареченском доме — избе. И хотя отец выпивку не терпел, но на этот раз смеялся и взмахивал одобрительно руками, когда циркач в костюме стального цвета откупоривал бутылку водки ударом по каблук лакированной туфли, а потом густо сыпал перец в стакан с зельем и, не моргнув, единым махом выпивал. Ух! При нём был его помощник, который во время представления раскладывал перед псом веером таблички с цифрами и натягивал канат, отправляя мышей в пасть хищному зверю. Вот он-то и сватался к несовершеннолетней зареченской красавице. Ничем особо не примечательный, парень как парень, таких по Бийску пруд пруди, но свита играла короля.

Пудель масти «королевский», цирковой артист, был в зареченской избе по Гоголевской и давал отдельное представление! Звали его Арто. Позже Валё прочитает рассказ Куприна, где циркового пуделя звали Арто. Циркачи заимствовали известную собачью кличку, как, вполне возможно, и имя великой династии Дуровых.

Тогда же для Валё «Арто» звучало как сокращенное «артист»!

Не похожий ни на одну из бийских собак, белоснежный стриженный Арто с пампушками выщипанной шерсти на лапах и хвосте, с шапкой кучеряшек на голове ходил на задних лапах, делал кульбиты и — самое невероятное! — умел решать арифметические примеры!

В помещении было тесновато, вышли во двор. Чёрненькая невзрачная Жучка сразу заскулила, заныла, нюхом дворняжки уловив, что она ни к чему на этом празднике жизни. Отец прицекнул и закрыл её в собачьей будке.

Артист Дуров в светлом костюме и лакированных туфлях называл условия задачи, его помощник ставил цифры и знаки, нарисованные на дощечках, и чудо пёс гулко лаял, безошибочно определяя результат.

Нежданно явился братка Сеня. Был он в новеньком тёмно-синем костюме с широкими лацканами: тогда у всех мужчин костюмы были с иголки — их покупали и не носили. Берегли для случая.

Сеню же Анна к событию нарядила. Была она рачительна, сноровиста, при всей своей литой стати легка и расторопна. Так что на муже всё было отглажено, стрелочки на брюках в ниточку, рубашка белоснежная, широкий галстук повязан идеальным треугольником. Братка Сеня, который в обычной жизни ходил в чёрной хорошо постиранной робе, преображался.

— Семён Прокопьевич, — представлялся, знакомься, братка, — сын собственных родителей, родился по собственному желанию, умру по сокращению штатов!

— Директор, чем не директор?! — гордилась мужем рядом Анна.

Братка был маленько в тонусе, иначе бы не пришёл. При костюме он по-директорски заподозрил подвох с собакой-счетоводом. И ему предложили самому назвать цифры. Потом цифры объявляли и отец, и братка Филипп, и Рая, и сам Валё! Арто был на высоте! Умный пёс продолжал удивлять публику, сам выбирая цифры из ряда расставленных дощечек, складывал их или вычитал. Сестра Рая, счастливая, присаживалась к красавцу Арто, в полном восторге тискала его, словно игрушку, сшитую из бархата и шерсти, и целовала! Любила ли она сватавшегося жениха? Неведомо. Но белого пуделя королевской породы она точно любила!

Циркачи немножко приоткрыли «кухню» номера, и все увидели, что это вовсе не артист Дуров, а его помощник был истинным дрессировщиком и главным — после пуделя! — участником представления. Это он давал знаки, а дрессированная собака улавливала их и слушалась.

Жучка иногда снова начинала подвывать, хозяин цыкал, и охранница двора затихала.

Артист ударом о каблук раскупорил следующую бутылку, и тут свершилось невероятное! Ни прежде, ни в последующей жизни никто за Степанычем не замечал, чтобы он поддался уговорам и выпил спиртного. И вдруг — с потомком того самого Дурова, который по Москве на свинье ездил! — жажнул стопочку! Граммов пятьдесят, не больше. Но что с ним творилось! Он как

бы стал вылезать из себя: силы распирали и раздирали!

Давай всех мужчин звать на борьбу. Сразу же выскочил братка Сеня, и Анна, не удержав, лишь успела стащить с него пиджак.

Степаныч отшвыривал Прокопьевича одной левой, смеясь и гордо приговаривая:

— Не переживай, Анна, я его так, жалеючи, чтобы штаны не примарал, — и, отбросив в очередной раз Сеню, обращался ко всем: — Это потому, что я не пью и не курю!

Бдительная Анна наконец скалой встала перед мужем. Отец потащил в круг зятя Филиппа. Тот, длинный, тонкий, но кузнец ведь, отнекивался: да ну, мол, тебя. Потом сразу поддался. Всё, всё! Сборол. Степанычу явно хотелось помериться силой с артистом Дуровым. Потянул к нему руки, но представитель старой цирковой династии заявил, что не имеет права: проходил обучение в Японии, у него чёрный пояс, подписку давал. А другой циркач — помощник и жених, невысокий, очень крепкий, моложе Степаныча лет на двадцать, — схватился. Повозились все-ррез, взявшись за плечи друг друга, и отец, как учил некогда маленького сына, дёрнул противника на себя, перехватил за пояс, резко прижал, утыкаясь подбородком в ключицу, подломил. Уложил на собственное колено.

— Это потому, что я не пью и не курю!

— Зато баб по всему Алтаю развёл! — братка Сеня был уже в градусе.

И как сильная Анна ни удерживала рьяного мужа, Сеня всё же прорвался.

— Няньку ославил на всю Барду!

Степаныч схватил, крутанул правдолюба, сделав подсечку, и братка Сеня угодил в поленницу, выложенную углом во дворе. Поленница рухнула, и оказался Сеня вровень у чурки с воткнутым в неё топором.

Дрова на зиму Степаныч заготавливал вместе с Семёном. Распиливали брёвна двуручной пилой. А так как хозяин был в постоянных разъездах, Семён приходил чурки колоть. Позже, когда Валё сам стал колоть дрова, братка Сеня всегда помогал, и приходилось удивляться: вроде не отличающийся силой, он располюбовывал добрую чурку с одного удара и потом так же, без большого замаха, методично натюкивал будто форматированные полешки.

Братка мгновение посидел возле чурки: топор с гладким, хорошо знакомым ему топорием просто звал и требовал:

— Зарублю!

Это был «звездный час» Семена Прокопьевича: брат Лешка в Каже тоже любил устроить людям праздник: что за свадьба без драки!

— Положи топор, Сеня! — требовала Анна, однако держалась от мужа в сторонке.

— Сямён, та ты чё? Выпьем, Сямён, пошли, — улыбался русочубый Филя.

На Алтае вообще-то речь без особых диалектов, оканий или аканий, но Филипп вместо «е» произносил «я» и растягивал слова, как и наведывающаяся из Маралихи его родня. Видно, были они пришлые с Волги: мордва и близлежащие районы растягивают слова. Получалось очень нежно: «Сямён».

— Ребёнка токо не трожь! — громогласно объявляла маленькая мама Клава, размахнув руки вокруг Валё.

— Семён Прокопьевич! — пылала стыдом невеста Рая. — Не позорьте нас перед людьми!

— Всех порублю! — взмахивал братка Сеня топором.

— Пусть идет на меня, — вставал в стойку цирковой артист, — у меня чёрный пояс!

Тогда не очень-то знали про эти пояса, но звучало грозно.

В открывшейся калитке появилась и бабка Сатуниха с пустым мешком:

— В милицию его на пятнадцать суток!

Следом за ней сосед Шуня взмахивал кобурой:

— Стреляю на поражение, положи топор!

Кобурой этой, без пистолета, он не раз хвастался мальчишкам.

— Где он, дайте мне Ладкина! — гонял по двору толпу добродушный Сеня.

Анна метнулась в дом, почему-то прихрамывая. Появилась вместе с мамочкой.

Ирина Михайловна спокойно подошла к буяну и сказала как маленькому:

— Отдай-ка мне, Сеня, топорик.

И Сеня упал на колени, протянув оружие. Зарыдал:

— Прости, нянька Ариша!

И это был желанный, слёзной сладости исполненный момент.

— Прости!!!

Жил бы братка Сеня, как позже понимал Валерий, в иной, образованной, паче того в творческой среде, где пункт национальности является щекотливым, — в нём, русском мужике из сибирской деревни, углядывали бы иудея. Нос — набухающей каплей, готовый упасть. Шнобель. Глаза — весенние пузыри, готовые лопнуть. А если убрать синюшное обморожение щёк, то так и слышишь ироничный голос — чисто Сеня с Дерибасовской.

Библейская Сенина грусть проняла женщин. И все они вокруг покаявшегося буяна заботливо крутились. Приподнимали с колен, отряхивали. Анна, держа на руке пиджак, спешно осматривала — не порвалась ли одежда, дырок нет, а это всё почистит. Рая платочком вытирала слёзы, бабка Сатуниха протягивала пригоршню семечек: «Успокаеват!»

— Нянька Ариша, мне за тебя обидно! — опять в сердцах ударил себя в грудь Сеня.

— Обидно ему! — тотчас сменила Анна ласку на строгость. — Мужик печку безмужней бабе делал, копеечку семье зарабатывал!

— Печку. С трубой, — посмеивался добрый Филя.

— А на што он у ей поселился?!

— Дык до Пильны-то скоко? — басыла мама Клава. — Походи-ка с Кажы туды-сюды...

И вдруг раздался воистину душераздирающий крик.

— Арто?! — теперь артист Дуров был похож на человека из древности, раскинув к миру руки: — Арто где?!

Не было во дворе собаки. Только Жучка скулила в прикрытой будке. Кинулись кто куда — за раскрытые ворота, на улицу, в огород. Не видно было пуделя. Не было во дворе и Степаныча.

Валё забежал через сени в дом. Изначально это была изба с одной комнатой — что-то вроде студии, как стали называть сейчас, где располагается и плита, и спальные места, с той разницей, что туалет — уборная — был на улице. Отец с Олегом соорудили печку посредине, как перегородку. Получился пятистенки. Кухня и комната, а летом — две комнаты, потому что готовили на улице.

Попугай умеет подражать голосам людей. А пудель, видно, умеет преображаться под ту породу, которая угодна хозяину.

Пёс, совсем не похожий на цирковую собачку для забав, сидел на полу, весь обращенный в проем между печкой и стеной, за которым была другая комната. Солдат, готовый к исполнению приказа. Грудь выгнулась вперед, а шапка шерсти на голове напоминала военную фуражку. Овчарка в образе пуделя!

Звучало радио — передавали последние известия. Новостные выпуски в советское время мало отличались один от другого: повсюду выполняли план, получали награды, побеждали спортсмены. И лишь только генеральный секретарь ЦК КПСС вносил изменения, перемещаясь по миру с ответственными дружескими визитами или принимая важных гостей. Ничто отцу не могло помешать прослушать очередной выпуск последних известий: что бы ни происходило, в нужный час он включал ретранслятор, чёрным раструбом висевший в углу комнаты. Обычно слушал, продолжая какую-нибудь работу: паял, подшивал или что-то еще — без дела руки его не находили себе места.

На этот раз Степаныч восседал на стуле нога на ногу, сложив сомкнутые ладони на колене. Задумчивый, весь в себе. Легкий тик подергивал верхушку крепкого подбородка.

Это с ним бывало. И выражение лица такое сын видел. Ему было пять лет, когда состоялся XX съезд партии и вынесли тело Сталина из мавзолея. Валё хорошо запомнил, как изменились тогда лица взрослых людей: все одинаково стали остолбеневшими. Так и передвигались, почти не разговаривая, не меняясь в лице.

Отец так же со сложенными на колено руками произнёс тогда непривычно ровно:

— Сказать было надо. Но шумиху не поднимать. Сделать всё по-тихому.

Больше никогда ничего на эту тему сын от него не слышал.

Зато глухая к политике мама Клава ворчала гулким голосом:

— Теперича говори, не говори. В Барде учительшу ночью забрали, боле никто не видал. Потомука, председателя сельпо... Сказывали, расстреляли. Вредителей-то рази мало было? Кто знат, как оно там? Не вернёшь...

Циркачи, влетевшие со двора в дом, кинулись к умному псу:

— Арто!

За ними с возгласами к пуделю бросились и родственники.

— Тише, — рявкнул отец.

Родные знали, а гости поняли, что последние известия для хозяина дело святое. Молча, бездвижно дослушали новости, завершающая минута которых всегда была о действительно нешуточных победах советского спорта.

— Ты уж не обижайся на него, Александра Степаныч, — начала Анна, подтыкая выбившийся край рубахи в брюки мужа, — ты же знаешь, Семён Прокопьевич не со зла...

— А ты чего хромаешь, Анна? — заметил Степаныч.

— Так... — засмеялась жена братки Сени. — У нас же с Сеней юбилей. Пять лет как один день! Самогон решила нагнуть. Флягу. Думаю, ага, мало ли что? Комиссия какая, а я тут с самогонном. Да и Сеня будет знать, что есть, — покоя не даст. Налей, мать, да налей. Закрыла я дверь на замок, кто придёт — замок висит, хозяев нет. Сеня придет, меня нет — а я ключ не стала прятать где прячем. А окошко оставила открытым. Дом обошла по палисаднику, на фундамент — ногой и — в окошко. Нагнала чин-чинарём, обратно-то стала слезать, да ка-ак!.. — сглотила Анна напрашивающееся словцо. — Ногу-то и подвернула!

Степаныч и намёка на матершину не терпел. Но характер жанра чувствовал и расхохотался.

Смеялись все, а после общей нервозности даже кто-то и навзрыд.

— Так ты, вядать, дягустировала! — напевно говорил Филя.

Отец протянул руку, взял на стене висящую мандолину, вытащил из-под струн на колке медиатор, примерился, и по избе, будто звон колокольчиков и бубенчиков, полетели подстёгивающие трели.

— И-из-под дуба, и-из-под вяза... — в такт и всем видом в угоду хозяину запела Анна.

Пела она и не громко, и не тихо, а сглаживая, приглушая звук, который внутри неё, может быть, и клекотал.

И пошла по кругу, вмиг излечившись от недуга. Невысокая, крепко сбита, словно литая из чугуна, отставив выпуклые, как опрокинутые чугунки, ягодицы. На чугунных ногах она порхала легко, как бы не касаясь пола, и поводила

чугунными руками изящно и плавно — просто на зависть маленькой точёной балерине.

— Во даёт прикурить, кулацкая дочь!

Тетя Аня, родившаяся в конце двадцатых, в годы раскулачивания, не раз вспоминала, что отец её был богат, имел свою торговлю и большой дом в самом Бийске. Что было дальше с ним и как росла Аня, — неведомо. Но известно, как обрела Сеню: он, демобилизованный с флота, жил у тётки — Ирины Михайловны. Был у неё тогда балок по улице Краснооктябрьской — дощатая времян-ка с засыпанными между стенок опилками, с битым стеклом, чтобы не заводились мыши. Когда явился Степаныч с тремя детьми, было решение купить бревенчатую избу через три квартала по Гоголевской, а балок продать. Покупательницей стала как раз Анна. Так Анна, кулацкая дочь, купила избушку вместе с молодым морячком Сеней. Наверное, по её характеру ей нужен бы более представительный мужчина. Но лелеяла и нежила Анна своего Сеню и, будучи от роду не Карпова, часто говаривала: «Ой, да мы все, Карповы, простофили, нас вокруг пальца обвести...» Строились с Сеней, расширялись, и всё у них, работающих, шло складно!

Потомственный статный артист в лакированных туфлях, для того и предназначенных, стал отбивать вокруг порхающей швеймотористки чечетку. И Рая, красивая, ладная, с трепыхающимися кудряшками и глазами, источающими брызги электроразряда, похожая на модных тогда актрис итальянского кино, ритмично выбивала дробь каблуками купленных по случаю отцом на базаре почти новых туфель.

Пройдёт еще три-пять лет — и вместо пляски так называемая «оттепель» принесёт в русские дома твист, летку-енку, шейк и буги-вуги. Но пока — плясали!

И Филя подпел — у него был мягкий, опять же прикрывающий баритон. Мелодию выводил чисто, и «пряплясывал» кузнец в такт Анне легко, едва касаясь пяточкой пола.

А вот Сеня топал, как подобает сибирскому мужику, сотрясая пространство.

Отец передал мандолину старшей дочери — беременной Эльвине. Откуда уж такое имя ей выискал? Сокращенно — Эля. Была она тоже хороша собой, но зрачок в левом глазице при

резком повороте головы чуть западал. Зато унаследовала Эля отцовские таланты — и рисовала хорошо, мастерила на продажу резные шкатулки, и на мандолине играла.

Приладив инструмент к выпирающему животу, склонив голову, отчего раскосость стала заметнее, Эля продолжила мелодию.

А Степаныч пошел вприсядку, закидывая попеременно руки за голову и выбрасывая вперед то одну, то другую ногу. Будто всю жизнь только и делал, что плясал.

Было ему на ту пору сорок пять лет. Возраст тогда — это не то что сейчас, когда и в пятьдесят еще мальчишки. Вспомним фотографии Чкалова, Гагарина, которые погибли в тридцать четыре. Пожившие мужики.

Заставил танцевать Степаныч и Арто: самым обычным способом, как станцевала бы и Жучка, — держа на весу кусочек недоеденного, испечённого мамочкой беляша.

Мамочка стояла, улыбалась трогательно, тая улыбку. Она стеснялась улыбаться широко: по её словам, у всех Карповых зубы как лопаты. То ли дело у отца: махонькие, ровненькие. Правда, с лёгкой щербинкой посредине, но это не портит. Ну, то у отца!

А Степаныч не стеснялся ничего, мог и шумно прилюдно испустить газы, смеясь во весь беззубый рот:

— Сыграли!

На улице гудел мотоцикл: киномеханик Мишка нарезал круги вокруг трансформаторной белой кирпичной будки, которая стояла ровно против дома — наискосок так, по диагонали к начальной школе. Родственники, провожавшие Раю, посмотрели на него — катается парнишка, мало ли их тут гоняет? И только мама Клава задержала взгляд, раскрыв рот с жёлтыми зубами, которые она никогда не чистила и никогда они у неё не болели.

Рая обняла братку Сеню, тётю Аню, прижалась к маме Клаве. Припала к мамочке.

— Спасибо вам, мама, — выступили слёзы на глазах, — спасибо! Если бы не вы, не знаю, что бы с нами было...

Мотоциклист вжикнул громче, усиливая обороты двигателя.

— Да не шуми ты! — гаркнул Степаныч, перекрыв звук мотоцикла.

Кинемеханик Миша, заложив вираж, умчался вверх по улице, взбирающейся от реки к лесу.

— Папа! Папочка! — горько и счастливо зарыдала на груди отца. — Я знаю, как вам (все старшие дети звали отца на «вы»), было с нами трудно!

Рая вернулась во двор, выпустила запертую дворняжку Жучку, потрепала её по загривку, прижалась лицом и пошла туда, куда вёл породистый Арто.

Через несколько дней после её отъезда невысокий скромный кинемеханик Миша, развив скорость, врзался на мотоцикле в трансформаторную будку у дома, где ещё недавно жила и откуда уехала с циркачами девушка Рая, красавица на всём Заречье. Говорили, покончил с собой из-за несчастной любви. Правда и то, что бились тогда парнишки на мотоциклах часто, даже в эту будку врзался не он первый — будка стояла посреди перекрестка и под горой. Кураж был какой-то с этими мотоциклами: все мальчишки мечтали купить мотоцикл, а иные — купить и разбиться, чтобы потом вся округа о них целую неделю говорила! Предвоенное поколение, мечтавшее о боях, подвигах и скоро покорившее космос!

Сестра Рая намоталась потом с жизнью передвижного цирка, которая вместо той, необычной, красивой, где даже собаки грамотны, оказалась цыганской, таборной, по вагончикам вместе с этими псами, с вечными вшами и мухами, да ещё перегаром от переперчённой водки!.. Пока старший брат Олег не вырвал её силком и не увёз в Новосибирск, где учился в строительном институте. Рая устроилась продавцом в центральный универмаг, и брат Олег стал постоянно слышать от знакомых ребят-студентов, что в шляпном отделе «ну такая работает — ну такая!» Нашёлся тот, кто стал провожать до дома у леса, где она сняла комнатку: не говоря ни слова, просто шёл за ней, дожидался, пока девушка скроется за воротами, и уходил. Сестра стала побаиваться, пожаловалась брату, Олег выследил назойливого провожающего, подозвал его. Им оказался студент того же строительного института, достойный парень, умница, боксёр — не мужик, а награда! А уж каким даром была она, вступившая в возраст девичьего расцвета, трудолюбивая и всегда улыбающаяся, будто жизнь её сплошь мёдом мазана!

И всегда, через годы и десятилетия Рая будет вспоминать мамочку тёплой слезой и повторять: «Когда мы к маме пришли, я впервые за три года наелась». Не сразу у младшего брата возникнет вопрос: почему за три? Ей же на ту пору было девять?

Сестра вспомнит: после войны отец получил большую должность. Его перевели в Бийск, выделили большой государственный дом, за ним приезжала «Победа» — персональный автомобиль, а там, где он работал, разгружались и загружались большие машины. В сорок седьмом отца уволили, отобрали дом с полной конфискацией, но самое плохое: дали «волчий билет» — запись и печать в трудовой книжке, по которой нельзя было в течение пяти лет устроиться на работу в городе. В сорок седьмом же случилась денежная реформа и накопленные деньги, на которые можно было купить хоть какое-нибудь жильё, тоже аннулировались (один к одному менялась сумма до трёх тысяч, а дальше — шёл коэффициент). Тогда отец построил временку возле леса, жили первое время с земляным полом. А к зиме он развёз детей по родственникам: дочерей к бабушке и сестре в деревню. Олега же взяли к себе совсем чужие городские образованные люди — поэтому, считала Рая, он такой, особый, вырос, интеллигент.

У брата Олега были правильные тонкие черты лица с чуть выпирающим подбородком. Способность никогда не терять осанки, а если он делал от плеча движение рукой, то будто держал кисть. Рисовал он много, и работа у мольберта могла стать привычкой. Но отец тоже много рисовал, однако его руки двигались под стать боксёру в поединке. Интеллигентность брата и в манерах, и образе поведения была природной — откуда уж и как нанесло это в далёкую алтайскую деревню, бог весть.

Потерявший службу Степаныч стал рисовать ковры, добывать маралий корень, бить орехи на продажу. Вozил свой товар в Среднюю Азию, влюбившись в тёплые края. Рая и в старости была бесконечно благодарна отцу: сколько родителей в послевоенное время, родив третьего или даже второго, детей определяли в детдом или интернат! Отец же, оставшись с тремя на руках, когда умерла их родная мама, не дожив и до тридцати, детей не бросил.

И даже в выборе другой жены исходил из заботы: «Женщин одиноких на ту пору было много, — признавался он, — но я искал такую, которая детей могла поднять».

О младшем можно было не печалиться. Ира ему, Саше, как она его называла, и так по гроб жизни благодарна, что в тридцать восемь лет родила первенца. Если уж вырастила неродных детей, то кровиночку свою поднимет, а там ещё и Клавдия, и вся родня — всё одно в их породе...

ЖУЧКА

И с того ни с сего отец зафитилил в мамочку чугунок с кипящей на плите лапшой.

На взводе он был всю неделю. Жучка то и дело попадалась ему под ноги, сбиваясь с собачьего толку. По всему, хозяин собирался на промысел: развешивал во дворе для сушки мешки под орехи, чистил ружье (карабин он брал только на большую зимнюю охоту, а так, когда отправлялся за корнем или по орехи, — одностволку шестнадцатого калибра). Вставлял капсули в гильзы — ныне существуют специальные устройства для этого, а тогда на глазок, пальцем надавил, деревянным молоточком прихлопнул. Набивал гильзы дробью, утрамбовывал пыжами, вырезанными из старых пимов — в Сибири так звались валенки. Жучка чуяла скорую вольницу и более достойное собачье дело, крутилась на цепи, мелко извиваясь всем телом, и била хвостиком, радостно припрыгивала, а Степаныч отбрасывал её ногой, будто мяч или кошку какую приبلудную. И устремлялся к почтовому фанерному ящику, висящему на заборе, рядом с калиткой. Верная псина, скуля и жалостно потягивая, забивалась в конуру, высунув в любопытстве нос.

Степаныч готовился к открытию разрешённого кедрового сезона, не терпелось! Но ещё больше не терпелось отправиться, подзаработав на орехах, в южный город Майкоп к отцу своему: написал ему, а ответа всё не было.

Он внимательно, как привык, читал присланные газеты. Брался подметать двор или выносил табурет, засовывал железную лапу в обутку и легко вшлёпывал в подошву маленькие гвоздики.

Снова просматривал мешки, вдруг обнаруживая едва заметные дырочки, зашивал сам. Не доверяя Клавдии, снова заглядывал в ящик для писем.

По округе ездили на телеге с коробом и большими ковшами с длинными рукоятями золотари — чистильщики уборных. Почему «золотари»? Может, потому что затвердевшие человеческие испражнения со временем отдают золотишкой... Может, потому что зарабатывали золотари крепко!

Мама Клава подошла к Степанычу: мол, у нас в уборной добро-то уже «подпират».

— Это лучшее удобрение! — назидательно воскликнул отец.

И нашёл занятие, требующее определённого размаха и способное отвлечь от дорожного зуда. Залил в уборную горячую воду, чтобы раскисло. Мама Клава сбегала за Семёном, и удобрение стали разносить и разливать по огороду. На вахте с черпаком на шесте орудовал хозяин. Семён с бадьёй, а мама Клава и Валё с ведёрками разносили удобрение по огороду. Жучке нравилось происходящее, она припрыгивала, привизгивала на цепи, вертя головой и отслеживая передвижения снующих туда-сюда с ношей людей. Вонь стояла неимоверная! Но так делали не только в доме на углу Гоголевской и Центрального, а и другие соседи, поэтому нареканий не могло быть. Да и народ в послевоенное время был очень неприхотлив к бытовым неудобствам. Что же касается семьи, то против слова отца и мысли о возражениях не возникало!

Отец полководцем выбрасывал вперед руку, направляя Семёна туда, где нужно погуще, там грядки, а Клавдию на участок под картошку, где кружками лежала зола от сожжённой ботвы. Сыну же под малину, которая обдирает, когда подлезает. Ягоду-малинку Валё очень любил, и в следующем году она будет произрастать из такого вот «добра», но что ж, сколько дождей прольёт до тех пор, снег выпадет и стает...

Руководителем Степаныч был природным. Чуть не со школьной скамьи директор сельской школы, начальник рыболовецкой артели, которую сам же организовал, директор леспромхоза! Так и виделось, как Александр Степанович, согласно запомнившимся кадрам из фильмов тех лет, ловко запрыгивает и едет на подножке движущегося грузовика, одной рукой держась за дверцу с открытым окном, а другой указывает, определяя поле деятельности и перекрывая голосом гул мотора и шум трудового дня... И всё

ладится, работа кипит!.. Но у начальника есть свой начальник. А какой же начальник может быть у Александра Степановича, сына героического отца? И какой начальник может долго вытерпеть Степаныча в подчинённых? «У его ж характер», — говорила мама Клава.

— Я почему из учителей ушёл? — переваливал из черпака в ведро Степаныч. — Уборная в школе прямо против окон. А я с фронта пришёл, у меня недержание. Сопрёт, и посреди урока скорей в уборную. Ну, раз так, другой, захожу в класс, а ученики фыркают со смеха. Ждут, когда учитель опять пулей выскочит! Нет, думаю, товарищ дорогой, или ты учитель, или засранец...

— Так ты же на молоке живёшь, — поднимал ведро Семён, — от молока бы и у меня...

— Александра Степаныч не молоко, — гудела в порядке очереди мама Клава, — а протаскишу ест!

— Так с простокваши того хлеще!

Вот только хозяин с черпаком был весел и дружелюбен и — тотчас:

— Что ты болтаешь, чего не знаешь! — просто сотряс пространство. — Сейчас ведро это тебе на голову надену и так к Анне отправлю!

Много позже брат Олег расскажет младшему, что отец вернулся с войны с потерей ориентации в пространстве. Шёл в одну сторону, а оказывался в другой. Его приходилось сопровождать, чтобы не потерялся. Так что об учительстве не могло быть речи и без истории с уборной. Со временем всё восстановилось, и вместе со старшим сыном они прошли не один километр по тайге, отец лучше его, Олега, знал хоженные и нехоженные тропы, хотя компас всегда держал при себе.

Брань Степаныча для Семёна значения не имела: старший имел право ругать младшего.

После работы по удобрению огорода пошли все вместе к братке Сене в баню. Анна всегда натапливала для мужа так, что обжигало даже на нижней полке.

Отец же домашнюю баню не любил. Мылся обычно в общественной, что за десятой школой. Налил шайку горячей, помылся, ополоснулся холодной. Охота в парную — сходил, там до одури, как у Семёна, не топят. Цена — один рубль пятьдесят копеек (после реформы шестьдесят первого — пятнадцать копеек). Время не огра-

ничено, хоть замойся. Валё нравилось, как отец выливал на него, подняв над головой, целую шайку прохладной воды. Но был поздний час, общественная баня закрыта, мылись у Семёна.

— Провались пропадом твоя деревенская баня! — стал одеваться отец, едва ополоснувшись.

Валё усаживался прямо на пол, чтобы вытерпеть жар. А братка хлестал себя распаренным венником, сидя наверху, будто в наказание, радостно прикрикивая и приохивая.

А потом шёл по двору в одних трусах, как делал это и зимой, и в сладком предвкушении кричал: «Мать, боевые!»

Утром, собираясь в школу, Валё приноживался к себе, и, казалось, всё равно от него воняло. Как бы одноклассники не подумали о нём, как те ученики об отце-учителе.

Есть поверье, что перед войной рождается больше мальчиков. Война давно минула, но, зная, потрясение в народе было таково, что женщины продолжали рожать мальчиков: его первый «а» класс состоял из четырнадцати девочек и двадцати восьми мальчиков!

На торжественной линейке перед одноэтажной деревянной школой первоклассники стояли «по ниточке» в ряд. Мальчики, как военные, в гимнастерках с белыми подворотничками, подпоясанные ремнями с пряжками, в фуражках с кокардами. У себя в округе или в Каже, куда приезжал летом, среди сверстников Валё был самым высоким. В школе же, на первой линейке, его поставили только седьмым, вслед за Бакшеевым, которому уступал невидимый миллиметр. А первым стоял Толя Красюк, который был на голову выше самых высоких — как четвероклассник. Следом Боря Летягин, рослый, хотя и с девчоночьим голосом, потом громкоголосый Серёга Недозрелов — все они жили у самой реки, на Лугах — на Лугах, говорили, и в огороде всё родится быстрее и больше.

Крайний из мальчиков Васька Богачёв едва доставал до плеча Нади Вершининой, возглавляющей строй девочек: все в белоснежных передниках, с белыми большими бантами, белыми воротничками и белыми манжетами на рукавах коричневых платьев. Лица и стать всего строя советских школьников послевоенных времен были овеяны единым порывом в неминуемое

светлое будущее, но в девочках эта вера, упругая устремлённость озарённых взоров чувствовалась крепче и зримее!

Форма мальчиков оставалась такой же и в будние дни, а девочки на те же коричневые платья с белыми воротничками и манжетами надевали чёрные передники.

Учительницу Александру Матвеевну называли одним из лучших учителей не только школы, но и города. С проседью в предельно аккуратно уложенных волосах, строгим и низким, характерным для немолодых учителей голосом. С неизменной полуметровой деревянной указкой в руках. Ударить указкой по шаловливым детским пальчикам или даже по темечку в воспитательных целях считалось общепринятой нормой.

На первых же днях учёбы случилось то, чего прежде с Валё не было. Валерка Бакшеев, когда еще их меряли ростом, меняя местами в строю, услышав фамилию «Карпов», соорудил рожу: «Кар-кар — дед Макар!» Да, в деревне брат Вовка и родственники подшучивали над ним, называя «соколадным», но то родственники, и то — Шоколадным! А Бакшеев дразниться взял за правило. Для себя Валё, может быть, и терпел, но «кар-кар» — это же он передразнивал и фамилию мамочки! После уроков он стал звать дразнилу за поленницу, выложенную вокруг двора школы. Но тот драться не хотел — убегал и бил своим оружием: «Кар-кар — дед Макар». И уж девчонки некоторые, да и Васька Богачёв, дружок, живущий по соседству, стали подхихикивать!

Впервые от позора и бессилия Валё дома разнюнился. Рассказал мамочке, и та мгновенно нашла решение:

— А как фамилия этого мальчика?

— Бакшеев.

— В следующий раз будет дразниться — ты ему ответь: «Бакшей — дед мышей».

И как же грохотнул от смеха весь класс, когда буквально перед первым уроком Бакшей закаркал и тотчас оказался дедом мышей! Теперь уже Бакшеев позвал Карпова за поленницу. Для приличия без злости они потыкали друг другу в грудь, не ударяя по лицу, так же для приличия рослые Толя Красюк и Сергей Недозрелов их разняли.

Всё. Никогда больше во все школьные годы не только Бакшеев, но и никто Валё не обзывал и кликух не навешивал. А с Валеркой Бакшее-

вым они потом сдружились, соревнуясь в борьбе за место в строю: то один подрос, то другой обогнал.

Валё в школу было только дорогу перейти, поэтому он не боялся опоздать и приходил в класс одним из последних. Запах лучшего удобрения с огорода преследовал, и входить в класс не хотелось. Но куда деться?

Толя Красюк на последней парте — иначе никому не будет видно доску — выкладывал из ранца тетрадь и ручку, доставал чернильницу из затягивающегося мешочка. Чистюля невероятный, брюки в стрелочку, уголки накрахмаленного воротничка остренькие, ровные, аж блестят от белизны. Показалось, чуть дёрнул свысока носом. Неужели учуял? За одной партой с ним Неля Кобелева, очень-очень красивая, только запалистая, до заикания — «ды-ды-ды!» — что-то говорила гладко причёсанной круглой отличнице (сейчас и все последующие годы) Гале Шульгиной: оценки в те годы ставили с первых дней учёбы. Неля замолчала, и обе подружки вдруг странно покосились на него.

Впереди сидела Тома Жарова, тайная любовь, про которую Валё никогда не говорил даже друзьям, жившим по соседству, — шустрому Ваське Богачёву и Витьке Матухно, кучерявому, как маленький Ленин на октябрьских значках, если бы тот был смуглым и чернявым.

Личико у Томи было именно томным, с пухловатыми губками, как бы немножко надутыми в капризе щеками, словно со сна. А волосы так пышны, что при прямом проборе и гладкой укладке, как и у прочих девочек, витые пряди всё равно спадали на глаза. Никогда она ни на него, да и ни на кого не смотрела, а тут повела тёмной головкой!

— От кого несёт! — тряхнула каральками косичек шустрая Надя Романенко: только у неё из всех девочек были такие, как локаторы.

— Так с огорода! — засмеялся Васька Богачёв, дружок-сосед.

Валё полетел в тартарары!

— Мы вчера с батей все клетки почистили, из-под норки, из-под кролов, курятник тоже — и на огород! Оно и подванивает! — выручил Васька: ничего-то он не стеснялся.

Огород и двор Богачёвых был обнесён высоким плотным забором. Отец Васьки имел мо-

тоцикл «Урал» с люлькой, что по тем временам говорило о большом достатке. Меха норки, выращенной в домашних условиях, стоил очень дорого.

Больше, чем у Богачёвых, дом под блестящей железной крышей, с резными ставнями в округе был только у семьи Витьки Матухно. Его отец работал директором самого главного в Бийске универмага, который тогда находился в старинном купеческом здании по улице Льва Толстого, напротив городского сквера.

У семьи Матухно был телевизор — единственный в округе — большой, с водяной линзой перед экраном. Телевизионные трансляции проводились три раза в неделю по два часа. Витька приглашал друзей по улице, и все вместе они, сидя на полу, ноги калачиком, прямо дома смотрели кино!

Был еще один большой дом — у семьи инженера. Такой же, как у других, с уборной на улице и колодцем, но то был дом, выделенный государством, и это делало хозяина в глазах соседей куда значительнее, чем охотник или директор магазина — ин-же-нер! Сына его, годом младше, все называли, подняв указательный палец вверх, «инженеров сын».

Класс дружно встал возле парт навытяжку, приветствуя Александру Матвеевну. И только Витька Матухно как сидел, так и остался над бумагой с цветным карандашом в руке — он постоянно что-то рисовал. Рисовал в тетрадях в клеточку, в линейку, отец Валё говорил про него, что он настоящий талант.

А Богач, стоявший к учительнице спиной, развернулся, размахивая руками, и опрокинул чернильницу. Она хоть и называлась непроливашка, но капельки всё одно вылетели на парту.

Богачёв получил по измазанным пальцам указкой и был отправлен за тряпкой. Васька пошёл, подмигивая классу и скосив невидимую для учителя сторону лица. Отец его держал в строгости и ремнём бивал, но маленький Богач все равно шалил, мог соврать, наябедничать, но мог и выручить, как сегодня. Хитрый и сметливый. При этом ещё и задиристый, когда Валё рядом.

А Матухно был отправлен в угол. Отстоять весь урок в углу — дело непростое. Тебе же и рожи кто-то строит, и ладошки к ушам приставляют, мол, лопухий. А засмеяться нельзя!

— Карпов — к доске.

И это было самое суровое наказание.

Рослые мальчишки с Лугов, где всё быстро растёт, умели читать. Дружки-соседи Матухно и даже Богачёв — тоже складывали слова. Девочки читали почти все, а Надя Вершинина шпарила, как не каждый взрослый.

Валё, как и старая мама Клава, его растившая, не знал букв совсем. Сестра Рая хотела научить, но отец строго запретил, сказав, что иначе ему нечем будет заняться в первом классе и пропадёт интерес. Но это раньше так, может, и было, когда все дети до школы читать не умели. А во времена, когда собака Лайка побывала в космосе, — стыдоба!

Это чувство собственной необразованности и дремучести так и сопутствовало Валё по всей жизни, даже и тогда, когда имел дипломы двух вузов и прочитал немало книг.

А вот на уроках арифметики чувствовал себя молодцом: денежкам-то мама Клава счёт знала и складывала аккуратно рубль к рублю, тройки к тройкам.

По дороге домой тетрадку по письму, где красовалась двойка, он спрятал за пазуху. А по арифметике, где стояла пятёрка, оставил в ранце, выдвинув краешек меж книжек.

Открыл калитку — во дворе Жучка вертелась на цепи, скулила и мелко тьякала, будто всхлипывала.

Из двери дома выскочил отец с поднятым вверх окровавленным пальцем. Сунул палец под нос собаке, и Жучка стала его облизывать. Так он делал всегда, когда ранился, и сына так делать приучил, поясняя, что слюна у собаки выработывает пенициллин, поэтому псы зализывают раны и всё быстро заживает. А разницы нет, у животного рана или у человека.

Следом вышла мамочка с марлей в руке и баночкой облепихового масла. Масло готовила тётя Аня, вываривая сутки полное ведро облепихи в растительном масле. Говорили, что у неё получается лучше заводского, с большим количеством полезного каротина, — слово это Валё запомнил: «каротин» — «карантин».

Всезнайка Степаныч пояснял, что алтайская облепиха содержит в два раза больше каротина, нежели европейская, поэтому облепиховым маслом на Алтае лечат любые порезы и ожоги.

— Что стоишь, заняться нечем?! Обалдуй! — обернулся грозно отец.

Он мог кричать на кого угодно, на первого встречного, будто тот был личным врагом, но маленькому сыну прежде не доставалось.

— Весь в вашу карповскую породу, — выговаривал отец мамочке, перевязывавшей ему руку. — Ничего с него не получится, шоферюга будет и пьяница!

Шоферами работали все сыновья дяди Яши и дяди Евсея, заезжали иногда к ним, в Бийск, на Гоголевскую. Здоровые, веселые, привозили из деревни гостинцы, катали на машине, усаживая в кабину не только сродного братку, но и дружок его с улицы.

Так ведь и родная сестра отца Стеша работала в деревне шофером и также заезжала в гости на бензовозе, пропахшая бензином, но тоже веселая и добрая. И тоже с гостинцами.

Да и кто из мальчишек не мечтал ходить по Чуйскому тракту на «ЗИС-5» или «студебеккере» в Монголию? А как пели вечерами парни под гитару, вызывая девичьи слёзы, про гордую Раю и отчаянного Кольку, водителей «эмки» и «форда», погибших в любовном поединке на горной дороге!

Да, в карповской породе выпить любили. Так ведь и Ладкины мимо рта не проносили! Родной брат отца — дядя Яша — приезжал, так с мамочкиным братом, тоже Яковом, хорошенько назюзюкались где-то, шли в обнимку по улице, оба рослые, в галифе и с орденскими планками на полинявших форменках, — издали как близнецы. Отец такую беду на них наорал, и они стояли, покачиваясь, улыбались виновато — большие, добрые. Степаныч всё подбивал их побороться, но бойцы наотрез отказались «людей смешить».

А бабушка Дуня, мама отца, такое веселье развела, когда приезжала. С орлиным носом, впалыми щеками, вылитая, как Валё позже думал, старуха Изергиль. Шла она по улице и, широко раскинув руки, громко пела.

— По дики-им степя-ам Забайка-алья!..

Отец выскочил навстречу:

— Что ты напилась, меня позоришь!

— Пила, Шура, и пить буду! — гордо ответила баба Дуня. И продолжила: — Да рази сейчас я пью? Ране, бывало, выпью литру, напляшусь да за второй пойду за семь верст в Шипуново!

Перед отцом Валё как-то немел: в «карповскую» — так он Карпов и есть. И больше жизни своих дядёв, теток, нянек и браток — всю родню! — любит!

Пошёл в дом, снимая по ходу ранец.

В рамке на стене, меж окнами, где прежде был портрет мамочки, торчали клыки битого стекла, словно ощерились, а по картонной основе разбегались белые гусеницы лапши.

Мама Клава собирала в ведро лапшу с пола, осторожно поднимая стеклянные осколки.

Мокрые помятые неровные части портрета в крапинках лапши лежали на столе.

Мама Клава, встав на табурет и вытаскивая осколки из рамки, будто о чём-то самом обыденном поведала.

Александра Степаныч кинул в Аришу чугункой прямо с горячей плиты: чугунка пролетела чуть выше её головы и попала в портрет.

— Все равно ты тут на себя не похожа! — в ярости отец схватил фотографию и разорвал.

У мамочки от перенесенной в детстве оспы на лице остались маленькие округлые рытвины, не очень заметные, если в избе. Но на портрете их не было совсем.

Валё повело зайти в другую комнату, где над кроватью, поверх рисованного отцом ковра, висел охотничий карабин с оптическим прицелом.

Карабина не было.

— Эвона! — изменился тон мамы Клавы. — Неделю уж как продал.

— Зачем?

— Лопотину купил, — поясняла мама Клава. — Дорогую!

Лопотиной она называла одежду.

— Вон, за шторой-то глянь.

Валё потянул край шторы. На плечиках, поверх мамочкиного праздничного платья, висел костюм, похожий на тот, который был у артиста Дурова. Он запомнил название: «Бостоновый!» Восхищенно тогда трогала ткань на ощупь тётя Аня. Только цвет иной. Не стальной, а светло-коричневый. Кофейный.

Отец любил ходить в галифе, даже когда был не в сапогах, а в сандалиях, которые называл мокроступами. Зачем ему костюм?

Серый волк с Иваном Царевичем и Еленой Прекрасной на спине без карабина, висающего поверх, смотрелся сиротливо. Тайно, когда

взрослых рядом не было, Валё снимал оружие, заглядывал в прицел, щёлкал затвором, проводя рукоятью туда-сюда, вставлял воображаемые патроны, целился, стрелял.

Продать карабин из-за какого-то костюма?!

— На барахолке купил, а как ненадёванный, — рассуждала мама Клава. — Сатуниха-то чё сказывают. Могилы-то свежи копают, лопотину с покойников сымают, на барахолке продают...

Она взяла ведро с собранными помоями, а Валё протянула чугунку с остатками лапши на донышке, чтобы дал Жучке.

Вышли во двор.

Отец своей забинтованной рукой играл с собакой, заставляя её служить и подпрыгивать. Смеясь, вполне любовно поглядывал на улыбающуюся мамочку, высывая, как это с ним бывало в радости и увлечённости, кончик языка к нижней губе. Зайди кто, посмотри... Ну, на зависть просто у людей мир да порядок!

Чугунку надо было запрокидывать почти вверх дном, чтобы жидкость стекала с загнутых внутрь краёв в собачью миску.

Да, чугунками ныне пользуются крайне редко, поэтому нужно объяснить, что это за посуда. Сделана из чугуна, тяжёлая, и если ей в кого-то попасть, то можно и зашибить. Доньшко у ней заузенное, чтобы опускать в проём на плите печи-голландки, где снизу горит огонь. Или ставить ухватом в печь русскую. А края — округлые, как у фарфорового заварного чайника.

Жижа попадала Валё на пальцы и скатывалась за рукав, а Жучка, натасканная на птицу, хватала куски слипшейся лапши на лету, лязгая зубами. Валё знал: самая добрая, верная собака может хорошенько цапнуть, если к ней протянуть руку или попытаться погладить во время еды.

Так и осталась в памяти картина, которую видел: дружные мамочка и отец около Жучки. И та, которую не видел: лицо мамочки под собственным портретом, в который только что угодила чугунка с лапшой, и взгляд её — с этими лучиками из дальней дали, откуда все крохотные и всех жалко.

Отец наконец рванул за орехом и маральим корнем, взяв Жучку с собой: во дворе с утра возле собачьей будки валялся пустой ошейник.

Дворняга не хуже породистых собак вытаскивала из воды подстреленных гусей и уток. Стар-

шего сына Олега, когда тот еще жил дома, отец брал на промысел, младшего пока нет. Так что Валё не видал, как Жучка охотится, видел лишь, как вытаскивает брошенную палку из реки: плюхается со всех ног в воду, плывёт, угадывая за палкой, которую сносит, хватая зубами, потом на берегу, встряхнувшись всем телом, подносит и кладёт палку к ногам, виляя хвостом.

Без отца и собаки дом и двор опустели.

— Эвона! — достала мама Клава из почтового ящика конверт с приклеенными почтовыми марками, штемпелями и крейсером на картинке. Перед ней было долгожданное письмо от деда Степана.

Мамочка очень обрадовалась, но вскрывать не стала. Поставила конверт, прислонив к вазочке с сахаром, на стол, чтобы муж, как вернётся с охоты, вошёл в дверь, так и увидел. Хотя никогда она мужем его не называла, всегда — Саша.

А сама, успевая, пока Саша в отъезде, чтобы не выказывать ему свою хворь, слегла в больницу.

Надорвала мамочка здоровье на радостях: получив большую семью, купила швейную машинку. Это было по тем временам большое достижение в уровне благополучия! Вечно не желая никого занимать просьбами, несла её на руках перед собой от промтоварного магазина на зареченском базаре до дома — угол Центрального и Краснооктябрьской, где тогда жили. Километра два! Автобусные маршруты запустили здесь значительно позже. Как это возможно, понять сложно: перетащить эту машинку, даже будучи крепким мужиком, из комнаты в комнату — и то напряжно! Почка сошла с места и стала, как говорили, блуждающей.

В столовой повар-бригадир всё равно в одиночку ставила и снимала с плиты тяжёлые бачки, не прося помощи. Периодически почка эта, перемещающаяся в теле, как муж по Алтайскому краю, остро давала о себе знать.

Вернулся отец не по обыкновению скоро: горело, знать, у него с поездкой в тёплые края, к отцу. Выгрузил из кузова попутной машины «ГАЗ-51» мешки с орехом и маральим корнем. Отдал маме Клавье гуся ощипывать: о холодильниках тогда и не слышали, до морозов и домашний скот не забивали, и дичи впрок не заготавливали. Неделью-другую может в погребе полежать. Вот на Крайнем Севере, среди вечной мерзлоты,

в погребах — булусах — мясо годами хранится.

Дома Степаныча ждало письмо из города Майкопа Краснодарского края.

Пахнущий смолистыми кедровыми шишками отец поднял сына над головой:

— Я деду твою фотографию высылал, признал. Пишет: «Наш!» — хохотал он, высовывая кончик языка. — Зовёт!..

Еще недавно Валё был в карповскую породу, а теперь вдруг — в деда Степана! Так и представлялось мальчишке, как они вместе с дедом, героем революции, в папахх поскачут на конях с саблями наголо!

Отец и прежде много рассказывал про деда. Теперь же его словно распирало, и он говорил взахлеб.

Если Чапаев на Первой мировой войне имел три Георгиевских креста и Георгиевскую медаль, то и дедушка Степан получил три «Георгия», без медали, — одного креста не хватило до полного «Георгия»! Был тяжело ранен: вернулся в родные края с парализованной правой рукой. Это не помешало ему в Гражданскую возглавить партизанский полк!

Шли они по улице на берегу реки, в горбольницу у леса, где лежала мамочка: не успела она вернуться домой до возвращения мужа, как ей хотелось.

Справа был понтонный мост, который на зиму разводили. Тогда недели две, пока река не станет, городское сообщение между берегами останавливалось. На это время многие жители Заречья, работавшие на другой стороне, перебирались в районы, называемые Город и Новостройка. И по первому еще прогибающемуся льду спешили вечерами домой. А утром по морозцу — обратно. Проваливались часто, и тонули, и спасались, помогая друг другу, приходили мокрышенькие, в сосульках. Морозы крепчали, начиналось движение по льду машин, транспорта. И тоже часто, особенно весной, когда подтаивало, машины проваливались, уходили под лёд. Позже, в шестидесятых, построили через Бию бетонный мост — это был праздник и победа для всего города! Знаменитый Чуйский тракт начинался от музея, где некогда в зале революции смотрел со стены командир полка в папахе, выходил языком на новый мост.

Понтонный мост остался позади, отец приостановился и широким взмахом указал сынишке на большой дом, в котором располагалась единственная на ту пору в Заречье аптека.

Валё знал, что в этом доме его дед, командир полка Степан Ладкин, стрелял из пистолета с именной надписью товарища Калинина в комдива Ивана Третьяка.

Со времён партизанской войны на Алтае минуло пятнадцать лет. Бывший комдив, теперь почётный ветеран, объявил, что написал о тех пламенных событиях книгу. И попросил бывшего командира Третьего полка Степана Ладкина собрать для читки боевых товарищей — телефон в своём доме был крайней редкостью. Полководец Ладкин оставался «ладильщиком», одной действующей рукой хорошо управлялся с топором, рубанком, мог и косу отбить, и примус починить. И себе дом срубил, и людям пособлял, к нему тянулись, и требовалось только передать сообщение, как на фронте, по цепи.

Так, участники сражений собрались в доме автора новой исторической летописи — прежде дом принадлежал купцу, а потом городские власти передали его почётному гражданину.

Комдив Третьяк был рослым, представительным, с сильным убеждающим голосом, хотя и говорил с акцентом: выросший в белорусском Полесье, все молодые годы, одиннадцать лет, он прожил в Америке. Собравшиеся слушатели хорошо помнили, как на заимке встретили помощника пасечника, одетого в фетровую шляпу, гетры и высокие ботинки со шнурками. Все они уже были повстанцами, сражались с колчаковцами, отрядами чехов, просто бандами, объявлявшими себя царями и богами. Кто же этот человек в заморской одежде, который вместо «товарищи» говорил «туварищи»? Станный человек предоставил паспорт гражданина США, потом отщёлкнул умело устроенный каблук на ботинке и достал документ, удостоверяющий, что податель сей бумаги — революционер. Это очень убедило воинов-крестьян, ведь и Ленин скрывался от царского режима за границей.

Иван Третьяк был приглашён на собрание командиров боевых частей, где произнес речь, нарисовавшую для всех точный план боевых действий. Разрозненные боевые части прежде

всего должны стать под единые знамёна и командование. Военное время требует строжайшей армейской дисциплины, с самым суровым наказанием за нарушения. Командир Ладкин, имевший фронтовой опыт в регулярных войсковых частях, первым поддержал выступление варага. Третьяка тут же избрали начальником штаба вновь созданной дивизии, а скоро он стал и комдивом.

Отец с сыном стояли возле дома с вывеской «Аптека», где некогда комдив Третьяк читал рукопись своей книги.

А боевые товарищи внимали, подавшись вперед. В какой-то момент среди слушателей возникло странное оцепенение.

— Вони твоей ещё тут не было, — вскочил Степан, командир Третьего полка, — а приказы Ладкина уже по Алтаю летели!

Отец ярко изображал, как дед — его отец — выхватывал пистолет из кобуры, резко выкинул вперед руку, сжимающую рукоять, и нажал курок.

— Мачеха, она тоже была из партизан, — пояснял отец семилетнему сыну, — успела отбить руку в сторону! Пуля в дверной косяк попала! У них там, — кивал он на дом, — в косяке до сих пор дырка!

Валё тоже мысленно вскидывал пистолет.

— Че-пу-ху понаписал! — голос отца шёл эхом по реке. — Н-на-звать отца л-левым э-сером! — отсекал он слог коротким хлестким звуком и словно вдавливал буквы. — Твой дед ещё в госпитале, когда после ранения лежал, вступил в марксистский кружок!

В больнице мамочка, ничуть не выказывая болезнь, а наоборот, заметно радовалась, что сын и отец вместе.

— Письмо пришло, отец зовёт, — доложил муж.

— Я видела. Зовёт, надо ехать, — улыбалась жена.

— Тебя дождусь из больницы и поеду.

— Да чего ждать, поезжай.

— Еще орех продать надо.

Мамочка вынесла и передала много продуктов, которые успели натащить ей работники Первой столовой и родственники.

— Меня со дня на день выпишут, мне это не съесть.

На обратном пути отец, потрясая в воздухе сеткой с продуктами, снова говорил о том, с чем не мог примириться в душе своей во всю жизнь:

— На Алтае перед революцией больше девяноста процентов населения было крестьянским! Каждого можно было причислить к эсерам: эсеры — крестьянская партия! Пролетариата как такового не было! Партизанское движение как началось? Народ стал объединяться, чтобы защитить свои деревни. Колчаковцы грабили, чешские отряды свирепствовали, песня даже такая была: «Отца убили злые чехи, а мать живу в огне сожгли». Банды есаула Кайгородова грабили, сам Кайгородов был громадной силы человек! Хорошим р-рубакой считался тот, кто мог одним ударом с-срубить г-голову! — В голосе отца словно подсвистывала рубящая шашка. — А Кайгородов мог человека шашкой от плеча р-ра-споловинить! — не скрывал он восхищения. — Но если бы с отцом, дедом твоим, они вышли один на один, то не знаю, кто кого: дед после ранения мог сражаться только одной рукой, но он был очень ловким и быстрым! Он же и в бой ходил, верхом, впереди, с саблей в левой, хотя был правой. Но чаще на тачанке, за пулемётом! Когда они переправу брали, его ранило в плечо — той же руки, правой, парализованной. Мачеха с себя одежду скинула, исподнее на себе порвала, деда перевязала. Приказала бойцам, чтобы его отнесли, а сама — за пулемёт! Такая была!.. Из дворян. Курила. Сядет в кресло, сигарета с длинным мундштуком, и только указывает — они потом домработницу держали. Так что дед ранение получил, а Третьяк написал, что Ладкин с эсеровцами снюхался. Дал отряду Кайгородова уйти!.. Он даже фамилию не удосужился узнать, комдив называется: через «т» в книге писал — «Латкин»...

Книга Ивана Третьяка увидела свет в тридцать четвертом году. В согласии с высказанной версией автора, бывший командир Третьего партизанского полка Степан Григорьевич Ладкин (в книге и в иных исторических документах с легкой руки автора — Латкин) был осужден как ставленник эсеров. Деду повезло, что его отправили этапом в тюрьму близлежащего Казахстана, где у местной власти были свои порядки.

О жертвах сталинских репрессий написано и снято фильмов немало, и почти всегда в сюжетах

есть такой поворот, когда родственники и знакомые отказываются от осужденного и боятся быть хоть как-то к нему причастными. В реальности на Алтае односельчане и однополчане деда собрали два воза провианта — и это в тридцать четвёртом году, когда повальный голод тридцать третьего лишь сменился на жизнь впроголодь! Подношение отвезли за триста верст начальнику тюрьмы. «Хозяин» в те годы сам мог решить дело: выдал он полковнику Степану Григорьевичу папочку с документами, фамилия которого в бумагах так и значилась — через «т». Тюрьму покидал не осуждённый Латкин, а некто Ладкин, не имеющий к первому отношения. Умудрённый начальник дал на дорожку дельный совет: никогда не лезть во власть. И отпустил с богом.

Бывший революционер, слава советского Алтая, сначала поработал лесником, а потом и вовсе перебрался из Сибири в теплые края, в столицу Адыгеи город Майкоп. Почему именно туда — остается загадкой.

Георгиевский кавалер и герой Гражданской войны спокойно работал до кончины в тире городского парка. Тогда много было одноруких тирщиков.

А вот Иван Яковлевич Третьяк в тридцать седьмом был расстрелян как японский шпион. Могли бы спасти его два воза продуктов? Ну, во-первых, их кому-то надо было собрать и отвезти, рискуя головой. (Приговоры приводились в исполнение обычно в иных весях.) Нашлись ли бы такие люди, как в случае с дедом Степаном? Во-вторых, НКВД в эти годы целенаправленно занимался «чисткой». Как выражались, под гребёнку. Объективно, книга Третьяка спасла деду жизнь: он угодил под обвинения раньше других партизанских деятелей, кончина которых даже в зале революции Бийского музея датировалась одним годом: тридцать седьмым. А беглецов, как известно, не искали — они же всё равно не попадали в план отпущенной разнарядки.

Долгое время, будучи взрослым, Валерий жил, довольствуясь картиной в памяти, которая сложилась из рассказов отца, брата Олега и сестры Раи. Сестра Эля, мастерица, рядом с благодушным заботливым мужем Филей о прошлом не говорила.

В очередной приезд на родину повёл подрастающих детей в городской музей, заранее под-

готовив их к тому, что в зале революции они увидят портрет своего прадеда. Но ни фото, ни упоминаний о героическом предке не обнаружил! Как не было и портретов иных алтайских повстанцев пламенного девятнадцатого года двадцатого столетия. А вместо зала революции — стенд жертвам ГУЛАГа.

Перипетии времён вновь вызволили в воображении Степана Ладкина, стрелявшего в бывшего комдива при мирных обстоятельствах. Валё впервые удивился не тому, каков был его дед, — огонь! А самой ситуации: зачем новоиспечённый писатель пригласил командира Третьего полка на чтение рукописи своей книги, где обвинял последнего в принадлежности к эсерам?!

Валё набрал в поисковике интернета имя Третьяка и название его труда — к изумлению, ксерокопированные пожелтевшие листочки издания 1934 года открылись на мониторе.

«Латкин», как называет его автор, упоминается почти в каждой главке. И везде он то напился, то не взял переправу, то вступил в сговор с противником, и обязательно с характеристикой — «эсер». На дворе были тридцатые годы, когда за подобные обвинения по головке не гладили! В лучшем случае — десять лет лагерей. Применительно к языку девяностых, валил своего боевого товарища по-чёрному! И не только его. Многие упоминались в подобном контексте. И не один дед из присутствующих при чтении в доме Третьяка, знать, готовы были схватиться за пистолет!

Разумно было бы предположить, что последующий расстрельный приговор бывшему комдиву и автору случился не без участия «отрицательных героев» книги: им есть за что мстить. Но нет — следственные документы, также выложенные в интернете, называют имя конкретного человека, по доносу которого Третьяк был признан японским шпионом. Никакого отношения к партизанскому движению! Бывший колчаковец, который в тридцатых годах окопался в управе города, имея теплое местечко. Считался приятелем комдива.

А уж как соседи по сёлам, да и односельчане, согласно этой книге, крошили друг друга шашками и расстреливали за здорово живёшь! Какая бацилла заселяется временами в людей? При этом кровавые события, описанные Третьяком

и иными авторами, происходили в основном в Горном и Степном Алтае.

Кажа раскинулась на Алтае холмистом, плодородном и медоносном.

Валё в детстве принимался расспрашивать своего родного дядю Евсея о его сражениях в Гражданскую. О силе дяди Евсея ходили легенды: он мог копну вилами за один ухват поднять и тяжёлые кули с зерном таскал, усадив сверху толстую девку на потеху умотавшемуся от работ люду. Любопытному племяннику думалось, что такой здоровяк, как дядя Евсей, еще побольше деда Степана беляков-то порубал!

Дядя Евсей, большой, грузный, чуть улыбаясь в растрёпанную бороду, рассказал:

— Да как-то приехали к нам откуда-то, собрали мужиков, кто помлаже, раздали сабли... Откуда у их столько сабель-то взялось? Сели мы на коней — своих, из хозяйства. И поехали биться. И с другой стороны такие же едут. Ну, бьемся мы, бьемся, а кого?.. Саблю эту я сроду в руках не держал. А этот-то, против меня, гляжу, умет маленько. Я ему и говорю: «Я ж тебя знаю. Ты ж с Пильно». А он отвечает: «И я тебя знаю, ты с Кажу». «А чего ж деремса-то?» — говорю. «Не знаю». — «Давай-ка, — говорю, — ты — к себе домой, а я — к себе». Так и разъехались с ним в разные стороны. А боле к нам никто не приезжал.

Историки могут заняться вопросом, почему бацилла самоуничтожения охватывала в Гражданскую алтайские земли выборочно? Версии могут быть всякие, но нельзя не заметить одно обстоятельство. Земли по Столыпинской реформе переселенцам давали только в Степном или Горном Алтае. Не очень плодородные или трудно обрабатываемые. Конфликты между приезжими и местными начались задолго до революционных событий, если таковыми не называть всю ситуацию в России начала двадцатого века.

Местных обижало, что они здесь века жили, работали... А эти — понаехали, им сразу же и деньги подъёмные, суммы немалые, и землю, и освобождены от налогов, и в поезде проезд бесплатный... А что же такое поезд в тогдашнем восприятии деревенского человека — чалдона, который еще и поезда по большей части не видел? Чудо из чудес!

А переселенцам было еще досаднее: лучшие земли оставались за местными. По урожайности не угнаться. Местные, и старообрядцы, и мирские, жили миром — общиной, имели общее дорогое снаряжение, и бороны, и косилки, и кузни. Сибирская деревня, по сути, была готова к принятию колхозов. Если бы не установка на торжество пролетариата, которого на Алтае практически не было. Тот же Третьяк описывает, как приходилось отыскивать чуть ли не единственного неимущего батрака — «сознательного» — или привозить из соседнего села, чтобы поставить во главе умелых вольных хлебопашцев (помещиков и крепостного права Сибирь не знала).

Сам Третьяк, бывший рабочий завода в Сан-Франциско, на Алтае не имел ни кола ни двора, кормился до своего исторического взлёта от брата-пасечника. Кто они были для него, местные крестьяне или казаки? В своём же труде бывший комдив сообщает, как «в соответствии с требованиями революционного времени» отдавал приказы расстреливать сотнями.

Комполка Ладкин действительно не взял с ходу переправу. Командиром противника по ту сторону реки оказался его приятель по мирной жизни. И надеялся Ладкин поладить миром. Переманить на свою сторону. Но явились «на подмогу» другие полки, и поставленная комдивом задача была выполнена: завалили реку телами, не разберешь, кто свой, кто чужой. В том бою и комполка Ладкин получил ранение, благо, в ту же большую правую ключицу. Так рассказал дед Степан приехавшему на побывку в Майкоп солдату внуку Олегу.

Степан Ладкин, предок которого Андрон Ладкин в семнадцатом веке распахивал целинные земли по берегам реки Маралихи на Алтае, дожил в столице Адыгеи до тысяча девятьсот пятидесяти девятого года.

А теплой осенью тысяча девятьсот пятьдесят восьмого сын его, Александр Степанович Ладкин, уезжал к нему из Бийска.

К бостоновому костюму отец прикупил лакированные туфли, фетровую шляпу и пальто из тонкого китайского сукна в тон. (Еще раз заметим, что китайское тогда было лучшим.)

— Ой, Александра Степаныч, — прогибалась Анна в спине, смыкая руки перед грудью, — артисты, чисто артисты! Прямо хоть сейчас в кино!

— Да с барахолки всё! — отмахивался отец.

— Вот я и говорю, — докладывала мама Клава в новом, аккуратно повязанном платочке на голове. — Сатуниха-то чё сказывают. Могилки на кладбище раскапывают, с покойников симают и на барахолке продают, быдто ново.

— С покойников лучше, чем с живых! — отрезала Анна, рубанув воздух ладонью.

— Чем это лучше-то? — удивился братка Сеня: он тоже был в добром костюме.

— А не встретит, не признает!

— Умна ты, кулацкая дочь!

Отец снял с цепи Жучку, потрепал по загривку, смеясь: ямочки на щеках, язык чуть наружу. Любил он собак.

Жучка, лизнув руку хозяина, обнюхала всех и твёрдо встала рядом с мамочкой, как это делают служебные собаки.

— Кто не встретит?! — затормозило что-то у братки Сени.

— Кто-кто, если с живого сняли, так встретит, еще в милицию потащит. А тут уж некому встречать, — веселилась Анна.

— А-а, — задергал от смеха кадыком и братка Сеня. — Некому, — и неожиданно, как это с ним бывало, перешёл почти на слезу: — Ну, Степаныч, прощай, чё ли? Не увидимся боле, так думаю.

— Чё ты несёшь! — дёрнула его за рукав жена. — Александра Степаныч к отцу поехал, проповедать старика!

— К отцу, — посерьёзней и Степаныч. — Поеду, пристреляюсь, понравится — вызову семью, — указал отец на Валё с мамочкой.

Семён, Анна и Клавдия проводили Степаныча до остановки автобуса на Андреевской. Всем приходилось идти вприбежку. А вот мамочка шла вровень: у неё тоже был широкий шаг.

Жучка выказывала себя во всей красе: бросалась за выбредшей из двора кошкой, зарывалась по уши и шурудила носом в спутанных стеблях кашки, охотясь на мыш-полёвку. Распрямлялась и вертела головой, будто ждала оаций.

Оставшиеся на остановке родные махали ладошками, а Жучка сорвалась с места и долго бе-

жала вслед уходящему автобусу, превращаясь во взоре в маленький бьющийся клубок.

Ехать нужно было на третьем автобусе до Конечной, потом на единичке уже до Бийского вокзала. (Сколько потом Валё будет уезжать с этого вокзала, приезжать, и радостно, и горестно, как сам перестук вагонных колёс!)

На отца женщины заглядывались. Иные мужчины тоже посматривали, как бы кого-то вспоминая. В самом деле он походил на артиста из кино. Мамочка тоже была в красивом платье из крепдешина в расстёгнутом, как и у отца, пальто из тонкого сукна. И Валё просто хотелось крикнуть, чтобы смотрели на неё, — это её почитает вся громадная родня, уважает вся округа, и благодаря ей все любят его, её сына! Да и одежда у неё не с барахолки, ничего Ирина Михайловна с чужого плеча не носила! Но взгляды обтекали мамочку и останавливались на отце, который никого не замечал вокруг. Шаггал широко по перрону, в общем вагоне, забитом людьми до отказа, раскладывал вещи, будто разбрасывал, аккуратно вешал на плечики пиджак и пальто, громко оповещая, что, как поезд тронется, туда же повесит и брюки, чтобы ничего не примять и пожаловать к отцу-герою чин чинарём.

— Со мной охота? — погладил сына по треугольному чубчику. — Понравится — вызову вас. Вы здесь с мамкой дом — побоку и — ко мне, в тёплые края.

А сыну было охота! На поезде, куда-то далеко, в тёплые края, где живут красивые птицы павлины, к деду! Аж сердце томилось. Но это же оставить всё — родню, друзей, реку Бию, Кажу? Лошадей в деревне?! Да как же это?!

Мамочка тихо улыбалась: так она обычно улыбалась, когда отец являл внимание к сыну.

Помахали с перрона гордо улыбающемуся в рамке окна вагона отцу.

Жучка, уже пристёгнутая к цепи, от резкого движения совершила кульбит на ошейнике, затягкала, вся извиваясь. Мамочка присела и прижала к себе собаку, словно утешая близкого человека. Ирина Михайловна!

И как это: дом — побоку? Вот этот, их дом? Жучку?! Не-е-ет!

Хотя никто ещё никуда и не звал.

ТАРЗАН

Много позже Валё прочитает «Песнь о собаке» Сергея Есенина:

*Утром в ржаном закуте,
Где златятся рогожи в ряд,
Семерых оценила сука,
Рыжих семерых щенят.
До вечера она их ласкала,
Причесывая языком,
И струился снежок подталый
Под теплым её животом.
А вечером, когда куры
Обсиживают шесток,
Вышел хозяин хмурый,
Семерых всех поклат в мешок...*

Жучка оценилась зимой. Жила она во дворе, как все собаки в Заречье, в будке, на цепи. Летом иногда её отпускали побегать по двору, порезвиться, а она — юрк в ворота и была такова. Иногда Жучка сама срывалась с цепи, высвободив голову из ошейника. Была она небольшой, гладкошерстной, черной. Собак на улице тогда было оставлять опасно: на лошади, с большим коробом, поставленным на телегу, ездили собачники. Бездомная ли собака, хозяйская — не разбирали, накидывали аркан и — в ящик. Аркан у них был не такой, каким ловят лошадей, — петля на веревке. Затягивающаяся петля с веревкой крепилась на длинном шесте. И как только появлялись собачники, хозяева выскакивали из дворов и быстро загоняли своих собак.

Щенята у Жучки были в неведомого самца: лохматые, светло-серые, ещё слепые, но очень веселые.

Отец к той поре — а Валё уже учился во втором классе — жил в далеком и теплом Крыму. От него приходили открытки, написанные красивым стремительным почерком. Писал он всегда слово сокращениями: «Здрав. До свид.».

Стояла крепкая сибирская зима. Жучка лежала в открытой будке со своим выводком. Огромный дядя Паша по одному отнимал подрагивающих кутят от её груди, укладывал в мешок. Дядя Паша был родным братом отца — по матери. Баба Дуня, будучи еще молодой, пока муж доблестно сражался на войнах, вышла за-

муж за сельского кузнеца, имея троих детей. Родила ещё троих. Дядя Паша был последним. Он только что вернулся со службы во флоте и в дом жены отсутствующего брата прибыл по полной форме: в бескозырке с ленточками, форменке с откидывающимся воротом, в распахнутом уголке которого красовались волны тельняшки. Лицом дядя Паша был похож на бабу Дуню — свою маму. Нос с горбинкой, выпирающий крепкий подбородок. А стать, знать, в отца — кузнеца: под два метра, могуч телом. Валё гордился своим дядей.

Дядя Паша стал учиться в лесном техникуме. Занимался лыжным спортом. Во всей спортивной экипировке, на лыжах с ботинками (тогда — большая редкость), взяв мешок со щенками, дядя Паша и отправился в лес. Взял с собой Валё: они не раз ходили вместе кататься в лес.

Валё не поспевал. Шаг у дяди был размашистый, лыжи ходкие. У Валё лыжи на валенках, да и силенок не хватало. Скоро дядя Паша, сомкнув кольцами лыжные палки, тащил племянника за собой, а Валё только держался за палку и, присев, казалось, мчался сначала по улицам с проложенной по снегу лыжней, потом по лесу. Катились быстро: тогда в лесу кругом были накаланные лыжни. Наконец приостановились. Дядя Паша съехал с лыжни, пошел с просеки в лесную чашу. В руке, той же, которая держала лыжную палку, тянущую Валё, был и мешок. Валё понимал и раньше, что должно произойти, но теперь это должно было случиться вот-вот, сердце забилось. Что же, когда курицу клали головой на чурку, а потом её тело, быстрое крыльями, еще летало по двору, тоже выпрыгивало сердце. Но он уже привык понимать, что это необходимо, такова жизнь. Жизнь такова и со щенками: куда их девать? Не разведёшь же во дворе псарню.

Дядя Паша расцепил лыжные палки, широко взмахнул мешком и ударил им о голый ствол высокой сосны. Ударил еще раз. А потом, не глядя, вывалил щенят в снег. Валё же, наоборот, глядел. И слепые щенята, увидел, еще шевелились.

Снова они катились по лыжне. Выйдя из леса, дядя Паша протянул племяннику мешок:

— Иди домой, а я еще побегаю. Соревнования скоро.

Из сегодняшнего дня можно удивиться: как это оставлять восьмилетнего ребенка почти в

лесу, а до дома еще километра три? И уже вечерело. Но тогда это было в порядке вещей.

Валё прошёл метров сто, увидел, как дядя Паша скрылся из вида, и повернул обратно.

Он мчался изо всех сил, упирался палками и плакал. Рыдал, смахивая сосульки с лица.

Щенята были живы! От них парило, как от взмокших лошадей. Валё собрал их обратно в мешок и покотил домой. Плакать перестал: надо было думать, как щенят спасти.

Было уже темно, когда подкатил к своей улице. Соседей, кто добрее, кто нет, — знал. Одного щенка сунул в подворотню тех, у кого была корова, гуси. А собаки у них не было. Сунул, тепленького, живого, постучал в ворота и — наутек. Так же подбросил соседям и остальных. Уже не стучал в ворота: во дворах заливались лаем собаки. А последнего, самого пушистого и подвижного, светло-серого, взял себе. Пусть хоть что делают, не отдаст.

Мама Клава была рада. Стала поить кутёнка молоком. Пришёл дядя Паша с тренировки, распаренный, лицо в куржаке — иней замёрзший.

— Вернулся за ним, что ли? Так и думал, что можешь вернуться. Одного забрал? Или всех?

— Одного, — соврал Валё.

Дядя Паша не допытывался.

Мамочка тоже была рада. Поглаживала щенка, вернувшись с работы.

Был тогда очень популярный фильм: «Тарзан». Про человека, выросшего среди животных. Тарзан этот был очень ловким и сильным. Так и щенка называли — Тарзан.

В такого к следующей зиме ладного, здорового, лохматущего пса превратился Тарзан!

Правда, иногда на улице с другими собаками просто бешеного. Валё подумывал, что это от того удара по дереву Тарзан делается психованным. Валёк так и про себя подумывал: как-то в Каже сестра Галя раскачала его на высоком, под взрослых, турнике. Руки мальчишки соскользнули, он сделал ровно половину переворота в воздухе и впахался темечком в землю. Встал, сестра спешила на помощь, но как настоящий мужик он отстранил её, шагнул сам... и повело в сторону. Отлежался на кровати в сенках. Но иногда, когда кто-то начинал задираться, на него находил полный псих — ушибленные они с Тарзаном. Хотя, оно и дед,

выходит, был не без психа, а уж папа родной...

Тарзан катал зимой Валё и на лыжах, и на санках. А какие пацаны с улицы Гоголевской в Заречье собачьи схватки устраивали, выводили цепных собак из дворов! Как в кино, где вцепившемуся в горло противника псу пришлось размыкать челюсти дулом пистолета! У Тарзана в битвах было два преимущества — псих и густая длинная шерсть, не прокусишь!

Дядя Паша тоже очень любил собаку. Дрессировал вместе с Валё: кидал палку в зимнем огороде, пёс, проваливаясь в сугробе, приносил её, получал награду, прыгая и вставая на дыбы. Большой человек трепал Тарзана по загривку, он же устраивал и собачью упряжку для племянника. Был дядя Паша человеком широкой души, но с каким-то странным предначертанием в судьбе. Так, в доме тетки жил ещё один студент — Валентин, сын тети Нюры и Василия Макаровича, такой же рыжий, как отец, и молчаливый. Был он невысоким, щуплым, но с ним никогда ничего не случилось на вечерних улочках Заречья. А здоровенный дядя Паша вызывал у местных агрессию. Как-то на него бросились со спины. При своей физической силе Павел во время службы занимался боксом и был чемпионом Тихоокеанского флота в тяжелом весе. Успел развернуться и ударить. Хулиган долго не поднимался, и дружки из компании стали орать, чтобы «флотский» бросил нож. Дядя Паша показывал им пятерни, подходите, дескать, нет ножа, потом махнул рукой и пошёл домой. Фамилия у него была Рубцов: по своему отцу — кузнецу. И Валё так и казалось, что он мог срубить любого. Но в другой раз ему проломили голову доской с гвоздями. На затылке так прямо прорисовались окровавленные дырочки: дядя Паша, сидя перед зеркалом, мазал раны йодом, посмеиваясь, мол, вентиляция.

Надо было, конечно, ему познакомиться с местными, «проставиться». Но дядя Паша был человеком гордым. Очень любил Маяковского, громко, стоя во весь рост, читал стихи о советском паспорте: «Я достаю из широких штанин...» Штаны у него были очень широкие — флотские клеши. После окончания техникума Павла Рубцова распределили работать на элеватор, а там сразу же поставили директором. По достоинству: характер, энергия. Но осенью того

же года нагрянула комиссия, обнаружила громадную недостачу: воровали одни, а списали всё на молодого директора. Пашу посадили на долгий срок. Скоро его перевели на закрытое поселение, где он женился на учительнице русского языка. Освободился досрочно. Поехал с семьей в город Братск на комсомольскую стройку, родилось двое сыновей, окончил заочно институт, работал на ГЭС, и всё бы хорошо. Но... предназначение ли? Характер? В выходные дни покатались на лыжах с горы по черной трассе, налетел на молодую сосенку. Деревце переломилось, и острый обломок пронзил большого сильного человека...

А в те детские годы дядя Паша напоминал Валё, когда шёл по улице, ледокол «Ленин», который часто можно увидеть на картинках в цветном журнале «Огонёк» или на спичечных коробках. Или по телевизору «Луч» с линзой перед экраном, устроенной из двух овальных стекол, меж которыми заливали воду. Он был только в семье Витьки Матухно, сына директора универсама. И майку или свитер дядя Паша надевал не так, как другие, просовывая сначала голову, а наоборот, как бы нырял в неё вперед руками. Это называлось «по-флотски»! Так и племянник приучил.

Книг в доме до появления дяди Паши было всего две — «Чук и Гек», затёртая и вся изрисованная кем-то, и большая цветная «Поваренная книга». Перед экзаменом, который мамочке для подтверждения разряда приходилось сдавать через положенный срок, кто-нибудь из грамотных родственников читал эту книгу вслух. Ирина Михайловна шла в трест столовых и ресторанов и каждый раз сдавала на высший балл. Дядя Паша привез с собой несколько томов Джека Лондона, стопками приносил книги из библиотеки и племяннику указал туда путь. В третьем классе, когда иные одноклассники уже читали Жюль Верна и Алексея Толстого, Валё самостоятельно одолел первую в жизни книгу — «Сказка о Мальчише-Кибальчише». Был совершенно потрясён и дня три пребывал в иной реальности, где мир салютовал бесстрашному Мальчишу.

(Продолжение следует)

Владимир Александрович КАРПОВ

родился на Алтае в 1951 г. Окончил Ленинградский театральный институт (ЛГИТМиК). Автор книг прозы, сценариев художественных фильмов. Один из авторов антологии «Шедевры русской литературы XX столетия» (РАН). Переводчик произведений якутских писателей. Лауреат всероссийских и региональных премий, отмечен наградами отдельных изданий.

В эфире радио «Мир», «Радио-1» вёл авторскую программу «Национальный герой», подготовил более двухсот выпусков о выдающихся людях отечественной истории. Секретарь правления Союза писателей РФ.

